

СУХБАТ АФЛАТУНИ

ПРИЮТ
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
КАКТУСОВ

**Это писатель,
который еще нас будет
по-хорошему удивлять.**

ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН,
писатель



Сухбат Афлатуни

Приют для бездомных кактусов

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64939991

Приют для бездомных кактусов / Сухбат Афлатуни: Эксмо; Москва;

2021

ISBN 978-5-04-115559-9

Аннотация

Остров, на котором проводились испытания бактериологического оружия, и странный детдом, в котором выращивают необычных детей... Японская Башня, где устраивают искусственные землетрясения, и ташкентский базар, от которого всю жизнь пытается убежать человек по имени Бульбуль... Пестрый мир Сухбата Афлатуни, в котором на равных присутствуют и современность, и прошлое, и Россия, и Восток. В книгу вошли как уже известные рассказы писателя, так и новые, прежде нигде не публиковавшиеся.

Содержание

Русский музей	5
Приют для бездомных кактусов	17
Наверх!	65
Совращенцы	90
Девочка с газетой	117
Остров Возрождения	126
Конец ознакомительного фрагмента.	134

Сухбат Афлатуни

Приют для

бездомных кактусов

© Афлатуни С., текст, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Русский музей

Дверь была открыта, в коридоре – свалка. Наметанным глазом он оглядел ее. Рожок для обуви? Повертел в руках.

В кресле сидела Яло и тыкала в мобильник. Бедрa обмотаны шарфом.

– Привет! – Он оглядел комнату. Понял, что всё еще держит рожок, положил его.

Яло подняла глаза:

– А, Сережа... – Она тоже называла его Сережей. – Чай будешь?

Она пошла на кухню, он продолжал разглядывать комнату. Сервиз на месте. Потрогал абажур над головой, запахло пылью. В кухне засопел чайник.

Яло стояла у плиты и грела ладонь над паром. Стала поправлять шарф на бедрах.

– Как дела? – спросила, глядя на чайник.

Чайник уже пускал молочный пар.

– Дела – у прокурора...

– Слей это. – Сунула ему чайник со старой заваркой.

Снова коридор, горы обуви. Носик чайника слегка отбит, но это не трагедия. Тоже пригодится.

Ощупал стену в поисках выключателя. Вспомнил, как приносил сюда стульчик, снимал тапки и вставал, чтобы дотянуться. Снимать тапочки его приучила Баболя.

Зажглась лампочка в самодельном абажуре, он помнил, как Баболя его делала, а он стоял возле стола. Внутри ванной тоже было как раньше. Сидушка с натянутым на нее вязаньем. Щетки с окаменелыми комочками пасты. Узнал свою, маленькую.

Яло курила на балкончике.

Отложила сигарету, заварила ему чай.

– Как она? – спросил, грея ладонь о чашку.

– Сейчас увидишь.

Он поднес чашку к лицу и погрел ею губы. В квартире холоднее, чем на улице.

– Пойду скажу, что ты пришел. – Яло поднялась. Пока он ходил, она причесалась, исчез шарф. Ей где-то двадцать три. Как и его второй жене, теперь уже бывшей.

– Она не спит?

– В шесть просыпается. – Яло зевнула. – А потом у нас утренние процедуры.

– Думал, еще спит.

– Говорю, в шесть, а иногда в пять. Плохо слышать стала.

– А что с отъездом?

– Что – с отъездом? Пока жива – какой отъезд? На днях что заявила? «Пока не свозите в Ленинград, не помру, буду вас мучить...» Налить еще?

Он пододвинул чашку.

– Я говорю ей, – Яло подняла чайник. – «Куда тебя такую везти, в какой Ленинград?..»

– А кровать?

– Что – кровать? На месте, блин, куда ей деться...

– Вну-у-ча! – донеслось из спальни.

– Че-е-его?! Ну че-е-его тебе?!

Голос Баболи был тем же, без перемен.

– Вну-у-ченька!

– Не слышит, блин, тетеря. – Яло плюхнула чайник, крышка покатила, он успел поймать.

Баболя была его няней. Баба Оля, если правильно. Но все ее называли Баболей. И он ее так называл.

Родители весь день работали. Родственников в этом городе, куда их прислали по распределению, у них не было. С детсадом тоже не получилось. Больше болел, чем ходил туда. И ничего не мог там есть. Родители не знали, что с ним делать. И отдали Баболе.

Ему было два года. Он еще не говорил. «Сирожетдин? – переспросила Баболя мать. – Будет Сережа».

Баболя жила с внучкой, высокой, еще и туфли на каблуке. Внучка только окончила школу, уехала в Ташкент поступать в пединститут. Поэтому Баболя была одна. Внучка пару раз приезжала, они закрывались в спальне, шептались. Иногда шепот переходил в крик. Кричала внучка, Баболя голоса не повышала, держала питерскую марку.

А у него с Баболей всё складывалось отлично. Он ел всё, что она готовила. Она накрывала стол в гостиной. «Серви-

ривала», говорила она. Даже обычный суп они ели из сервиза. Хотя обычных супов у нее не бывало, всё с выдумкой. Не так, как в садике, не так, как дома, не так, как в Ургенче у бабушек и дедушек, куда его возили два раза. Оба раза в Ургенче он болел, перепугав своих родных бабушек. А у Баболи даже не пытался заболеть.

На выходные он бывал дома с родителями. Смотрел телевизор или гулял сам во дворе. Родители между собой говорили по-узбекски, а с ним – по-русски. Ему делалось скучно, и он шел к Баболе, в выходные тоже. Стучал в дверь условным стуком. «Иду-иду», – слышалось изнутри. И звук каблучков. Баболя дома ходила в той же парадной обуви, что и на улице. Тапок не признавала. Только когда ноги распухли, перешла на тапки, нарядные, с меховыми помпонами. Он пару раз тайно терся о них щекой.

Телевизора у Баболи не было, она сама была живой телевизор. Читала ему книжки, напевала песни, много рассказывала. О своей жизни, о Ленинграде, о войне. Иногда вытягивала (он помогал) из шкафа толстую книгу. «Ры... У... Ру... Рус...» – читал он по буквам. «Русский музей», – читал позже, уже научившись. В этом Русском музее до войны работала Баболя. В книге, правда, про Баболю ничего не было, ни ее портрета, ни фотографии. Но Баболя на эту несправедливость не обращала внимания. Они садились в кресло (то самое, в котором, когда пришел, сидела Яло) и перелистывали тяжелые гладкие страницы.

Но самой его любимой вещью у Баболи был не альбом и даже не чашечка с надписью «Ленинград», из которой он пил Баболин чай с медом. Самой любимой вещью была кровать.

Это была настоящая царская кровать. Большая, в полкомнаты.

Сейчас, зайдя к Баболе, он вначале видит ее, огромную, царскую кровать.

Кровать была цела. Все завитушки, маленькие колонны, инкрустации. Всё играло и поблескивало в полоске света, падавшего сквозь прикрытые шторы.

Баболя, маленькая, сухая, почти терялась во всем этом.

Она подняла к нему свою маленькую руку:

– Сережа... Как вы повзрослели...

Это она говорила ему всегда, когда он приходил. И всегда обращалась на «вы».

Он взял ее ладонь и поцеловал. Другой рукой сжал ребро кровати. Там, где из дерева был вырезан лев.

В детстве он думал, что эту кровать Баболя привезла из сказочного Ленинграда. Может, даже прилетела на ней, как на ковре-самолете. Захватила ее из своего Русского музея, вместе с сервизом и тяжелыми серебряными вилками и ножами, которыми она учила его пользоваться.

Потом он узнал, что всё было не так. Узнал, кстати, от Яло, дочки той самой красавицы на каблуках, так и не окончившей пединститут. Вместо диплома об окончании та вер-

нулась с крошечной Яло на руках. И уехала одна обратно, устраивать личную жизнь. Он уже стал ходить в школу и реже бывать у Баболи. А Яло тогда еще звали Олей, в честь прабабушки. Она и сейчас была по паспорту Ольгой. Яло, Олей наоборот, стала называть себя, посмотрев в детстве «Королевство кривых зеркал». Чтобы отличаться от Баболи, на которую и правда не была ничем похожа. Ни характером, ни манерами, ни внешностью. Баболя, особенно в молодости, была похожа на классическую статую. А Яло – на матрешку. Щекастая, большеротая, нос картошечкой. Яло с детства отказывалась пользоваться ножом и вилкой, не любила альбомы с репродукциями и Баболины рассказы о Ленинграде и его пригородах. Но когда Баболя слегла, Яло как-то ухаживала за ней. Старалась не повышать голос, выносила горшок, делала, как умела, уколы. Только когда Яло надумала перебраться в Москву, начала интересоваться, сколько Баболя еще собирается прожить и не пора ли подумать о вечном. Тащить ее с собой в Москву в планы Яло не входило. Да и не выдержит. Нетранспортабельна.

То, что Баболя жила до войны в Питере, было правдой. Но была из простой семьи, а в Русском музее работала вначале уборщицей, а потом кассиром. Повышение до кассира произошло благодаря первому Баболиному мужу, известному искусствоведу. Он, маленький сутулый итальянец, умел ценить красоту во всех ее проявлениях. Они сошлись, он стал

энергично приобщать ее к прекрасному. Их семейная жизнь была наполнена его лекциями и разговорами на возвышенные темы. В тридцать восьмом его расстреляли, ее, однако, не тронули. Она продолжала жить в его маленькой квартире на Мойке, сохраняя в ней музейную чистоту и благолепие.

В начале блокады ей пришлось эвакуироваться, в дом попал снаряд. Вывозить было нечего, обстановка погибла в огне. С одним беженским чемоданом Баболя оказалась здесь, без работы, без мужчины и без утонченной жизни, к которой привыкла. Работа скоро нашлась, бухгалтером в стройуправлении. Появились и ухажеры из не разобранных на фронт мужчин; тонкую красоту Баболи умели оценить не только искусствоведы. Труднее всего было с налаживанием культурной жизни. Еще в Ташкенте можно было найти соответствующую себе среду, но в этом городке, куда ее забросила война, царило обычное провинциальное варварство.

Вскоре к Баболе посватался один местный начальник, из евреев, бывший к тому же известным мастером-краснодеревщиком. Как сочетал он свою должность с вырезанием замечательных стульев, сундуков и шкатулок, неизвестно; такие люди тогда еще водились. Баболе засветила сытная и относительно культурная жизнь. Но она выставила условие: Семен Маркович должен был изготовить ей к свадьбе особую королевскую кровать. И Семен Маркович с энтузиазмом принялся за дело, набрал в горбиблиотеке книжек по искусству, обсуждал с Баболей первые эскизы. Баболя требовала

убрать мешчанских амуров, а ножки сделать в виде львиных лап. Кровать создавалась долго, как и положено шедевру, была завершена только в сорок четвертом; тогда же они оформили свои отношения. Жили небогато, но копейка в доме водилась, сбережения Баболя тратила на изысканные вещи. Родилась дочь, в семейных заботах пролетали годы. На царской постели спала одна Баболя, а Семен Маркович в углу на раскладушке; на собственном шедевре ему как-то не спалось.

В пятьдесят восьмом собрались ехать в Ленинград, Баболя волновалась перед встречей с городом своей молодости. Но поездка не состоялась: умер Семен Маркович. Баболя тихо билась головой о спинку кровати; по мордам львов и грифонов текли ее слезы. В Ленинград больше из суеверия не собиралась, хотя мучительно скучала. В счастливых снах ей снились Русский музей, ведро с тряпкой и исчезнувшая молодость. Выйдя на пенсию, Баболя стала сидеть за скромную плату с детьми, которых ей подбрасывали соседи и знакомые. Ненавязчиво обучала их манерам, правильной речи и любви ко всему прекрасному. И рассказывала им о Ленинграде, о белых ночах, мостах, адмиралтейской игле и прочих чудесах культуры.

Он, ставший с ее легкой руки Сережей, был уже в «последнем эшелоне» ее воспитанников. Он помнил, как к ней приходили взрослые люди, приносили цветы и целовали ей руку. В девяностые почти все они разъехались; многие выбрали

Ленинград, ставший уже Питером. А он остался. Пару раз не слишком удачно женился, занимался бизнесом, кафе, пельменная, еще кафе... Была квартирка в центре; был старый, колониальной постройки, дом; машина, само собой. Художник, делавший второе его кафе (тоже баболинский «кадр» и тоже потом дернул), предложил оформить интерьер в стиле ретро. Наташили старых столов, стульев; приволокли комод, развесили старые фотографии, картины. Что-то – с толкучки, что-то купили у знакомых; один стул работы Семена Марковича пожертвовала Баболя. Оглядев результат, он понял, что это как раз то, чего душе не хватало: в нем проснулся коллекционер.

Он начал жадно собирать исчезающую обстановку. Громоздкие люстры, половики, тарелки, целые и с тонкой, как волос, трещинкой. Вышедшие сто лет назад из моды платья и пиджаки на ватине. Затвердевшие детские соски-ромашки и фотопортреты со следами неумелой ретуши.

Всё это он хранил в доме, который всё больше напоминал музей. Он так и называл его про себя – Русский музей; основные его экспонаты были задешево куплены или получены в подарок у уезжавших русских. Со временем, когда они все уедут, а оставшиеся растворятся среди местных, он откроет частный музей. В него будут приходить люди и удивляться.

Это было второй причиной его заездов, раз в полгода, к Баболе. Он собирался приобрести всю ее обстановку, от чайного сервиза до тапок с помпонами. Но главное – кровать.

Кровать, на которой он пару раз в детстве тайно лежал (детей Баболя на нее не пускала).

Он просидел у Баболи час. Длинное солнечное пятно ползло по кровати, освещая всё новые красоты. Весь час Баболя говорила о Ленинграде и о своем решении повидать его перед смертью. Ее повезут в кресле-каталке, она так решила. Уже выработала маршрут; она хочет, чтобы он его послушал. Ее провезут по Невскому, потом завернут к Екатерининскому каналу... да, он теперь имени Грибоедова. Вода там точно зеркало, и очень забавные чайки. Их можно покормить хлебом, она кормила их раньше, и еще голубей. Голубей ели в блокаду. Она рассказывала ему про блокаду? А потом надо повернуть направо, там уже музей, ее вотчина. Там мраморная лестница, которую так легко и приятно было мыть, там картины, там великий Брюллов. А после этого можно уже умереть, правда, Сереженька?..

– А что, ее совсем нельзя свозить в Питер? – спросил он Яло, уже обуываясь в коридоре. – Я бы помог... деньгами...

Туфли никак не надевались; рожок остался где-то в комнате.

– Да ее, блин, вообще с кровати трогать нельзя, – скривилась Яло. – В больницу даже не берут, с ее диагнозом...

Он резко притянул к себе Яло. Она освободилась, поправила волосы:

– Не надо... Не сейчас.

Он не стал спрашивать когда. Попрощался, завязал шнурки и вышел. С Яло они уже договорились насчет обстановки.

Вскоре после этого Баболя позвала ее к себе в комнату. Лил дождь. Кровать казалась темной.

– Я умираю, – тихо объявила Баболя.

Яло подошла, села на край кровати.

– А как же Ленинград? – спросила, помолчав.

– Так вы же меня уже свозили... – Баболя погладила ей руку. – Всё, повидала его, теперь можно и...

Яло быстро вышла на кухню, искала сигарету. Позвонила оставшимся Баболиным воспитанникам, бросила сообщение на «Одноклассники». Еще раз позвонила Сереже, но он не отзывался. Швырнула окурков в ведро, обмоталась шарфом и пошла к Баболе.

А Сирожетдин, он же Сережа, шел в это время вдоль канала Грибоедова. Легкие снежинки летели навстречу и гасли на его лице. Внизу бесшумно качался канал, вода еще не успела схватиться льдом. Покрикивали чайки, и он улыбался их крику.

Он прилетел сюда через три дня после заезда к Баболе; выходя от Баболи, получил приглашение. Один из друзей (тот самый художник) звал его на свадьбу. В Питере, как-то получилось, он еще не бывал. В Пулково его встречали, повезли через город. Город придавил его своей красотой. До свадьбы оставалось несколько пустых дней, он гулял по центру

и благодаря Баболиным рассказам отлично ориентировался. Успел познакомиться с девушкой. Нет, пока ничего серьезного, посидели в кафе, поговорили. Договорились о встрече. Она пришла. Теперь она шла рядом с ним; дома, покачиваясь, плыли вдоль ее лица. Он слегка оттопырил руку в локте, как его учила Баболя, и почувствовал, как в возникший проем легко проникла женская ладонь в перчатке.

Сообщения он эти пару дней не проверял и не отвечал на звонки; подождут.

О том, что Баболи не стало, узнал только на свадьбе. Там пришло еще несколько «баболинских», помянули, сбившись в кружок. Стали скидываться на памятник. Он вышел и стал звонить Яло. Объяснил ситуацию, извинился. Сказал, что привезет денег. Поинтересовался насчет обстановки.

– Всё на месте. – Яло зевнула, там была уже ночь. – Приезжай скорее...

Яло не стала говорить ему насчет кровати. Приедет, узнает.

Кровати уже не было.

Когда на похоронах ее потребовалось немного сдвинуть, она рассыпалась.

Пришедших было много. Многие еще помнили Баболю. Каждый унес с собой на память по фрагменту развалившейся кровати. Яло обнаружила это не сразу, а обнаружив, махнула рукой. Эту кровать она ненавидела.

Приют для бездомных кактусов

Они стояли полукругом, как обычно; босиком и чуть по-кошачьи переминаясь на холодной плитке. Плитка была старая и выкрашенная суриком. Краска кое-где слезла, пол стал пятнистым; когда-то на нем лежал стоптанный, но крепкий половик, и стоять по утрам было теплее. Потом половик свернули и унесли, и теперь в переключку они стояли на голом полу, который даже в теплынь оставался ледяным и после влажной уборки – шершавым и липким. Правда, и теплынь, и уборки случались редко; обычно было холодно и пахло накопленной грязью.

– Петров!

– Здесь, – отзывался Петров, поджав пальцы ног.

Человек за столом что-то писал и называл следующую фамилию. На столе стояла люминесцентная лампа, светившая мертвым светом. От лампы слезились глаза, и у человека за столом тоже, и на утренних переключках он выглядел заплаканным.

Звали его Батя Виталий. По правилам его следовало называть Виталием или Виталием Ильичом, но собственное имя казалось ему чересчур нежным, и отчество тоже. Закончив переключку, он отодвинул стул и отер слезу.

– Сегодня... – говорил он, оставляя широкие пролеты между словами. – У нас... ожидается корреспондент.

Пацанва стояла молча, и только ноги легонько шевелились, точно приплясывали.

– Из городской газеты... Что говорить, если спросит, знаете. Правду. И только правду. Какую... тоже знаете. Что лыбишься, Петров?

Петров мотнул головой и пошевелил потресканными губами.

– Что ты там шепчешь? Громко скажи, чтоб все знали.

– Я не лыблюсь... – поднял голову Петров.

В другое время за такое хамство Петрову светило бы два дежурства вне очереди, но сегодня делать это не стоило. Нужно предъявить весь контингент, прессе этой. Чтоб она горела.

– Ладно... – Батя Виталий выдохнул. – В общем, вы меня поняли.

– А тапки выдадут? – снова раздался голос. На этот раз возмутителем был не Петров, а стоявший через две головы от него Дорошенко, полутатарин.

– Чего? – поднял слезящийся глаз Батя.

– Раньше выдавали.

– Может, тебе еще обувь итальянскую выдать? От производителя.

Шутки у Бати были тяжелые и незабавные, но пацаны на всякий случай захмыкали. Не столько от шутки, сколько предчувствуя, что сейчас отпустят на завтрак, а в столовке полы теплее, не говоря уже о еде.

Их и правда отпустили, и они двинулись к двери, толкая друг друга и задевая коленями.

– Петров!

Петров замер. Остальные, легко его оттеснив, проходили мимо.

– Пятнадцать отжиманий.

Петров потер ледяную пятку о щиколотку другой ноги, наморщил нос и подался на пол. Встав на четвереньки, еще раз поглядел на Батю. Тот собирал бумаги и укладывал в карман ручку.

Петров отжимался, клая об пол пуговицами. Чтобы придать себе сил, мысленно представлял под собой распластанного Батю Виталия. Воображаемый Батя сопел и просил полегче. «Ну нет, – строго отвечал сверху Петров, – просил пятнадцать... жри пятнадцать... Восемь... Девять...»

Пят... на... дцать!

Петров осел, уткнувшись подбородком в плитку. Поглядел на Батю: вдруг что почувствовал?

Батя погасил лампу и толкнул Петрова носком:

– Что разлегся? Завтракать!

Кормили их по инерции нормально. Каша с лужицей маргарина; котлеты с перловкой. На запивку наливали теплый компот или чай бурого цвета с вываренной заваркой. Бывало и густое варенье, и карамельки с прилипшей бумажкой: это жертвовала соседняя церковь, иногда помогавшая почти но-

вой одеждой. За это раз в неделю они выслушивали в спортзале беседу, которую вел отец Геннадий; после беседы шли с ним в столовую и молча пили чай.

Сегодня были макароны по-флотски: теплый и родной запах фарша и подгоревшего лука Петров учуял еще в коридоре и заторопился. Холод в ногах прошел, в теле была горячая, сухая усталость.

Петров плюхнулся рядом с Татаринцом, как звали Дорошенко. Звали его иногда и Хохлом; оба прозвища Дорошенко воспринимал равнодушно. С другого бока быстро доедал свою кашу Митяев, он же – Митяй, или Два-члена. Прозвище это Митяй получил за свою стыдливость: в первый свой банный день отказался снять трусы. «У тебя что там, два члена?» – поинтересовался Батя Виталий, проверяя внешний вид. Митяй, пригнувшись, трусы снял, никаких аномалий под ними не обнаружилось, но кликуха пристала, как стикер: не отскребешь...

– У Серого «ночные ангелы» айфон забрали, – сообщил Петров, приступая к каше.

– Врешь, – откликнулся Митяй.

Дежурные разносили макароны. Петров почти управился со своей кашей и задумался.

– Батю, кажись, точно того... уволят.

– Не, – снова поморщился Митяй.

Митяй верил всему, что попадало ему в уши, но сперва выражал сомнение. Ему казалось, что тех, кто ничему не ве-

рит, больше уважают.

– Прошлый раз Саныча уволили, – сказал Петров как бы самому себе. – Позапрошлый раз – Петьку-завхоза... Если этот их корреспондент...

– А мне ночью... – Дорошенко поправил очки, – ...а мне приснилось, что меня убивают.

Митяй снова скроил недоверчивую физиономию. Петров проглотил кашу:

– Иди холодной умойся. И в медпункт зайди.

Подошел дежурный и стал собирать тарелки, чтобы разложить в них макароны.

– Скажи, чтоб пополнее, – пошутил Петров.

– Лопнешь, – ответил дежурный, как и было принято отвечать в таких случаях.

– Сам лопнешь... Жрете по две порции!

– И ты жрешь, когда на дежурстве.

Это было правдой, и оттого еще обидней.

Петров выхватил тарелку обратно и со стуком поставил перед собой:

– Подавитесь своими макаронами... вообще не буду.

Дежурный дернул плечом и отправился дальше, мысленно приплюсовав к двум своим порциям еще одну.

– Петров!

В дверях стоял Батя Виталий.

– Опять бакланишь?

Петров напряженно глядел в тарелку, чувствуя, что при-

дется опять отжиматься, а может, и хуже.

– От макарон отказался, – неохотно донес дежурный.

Остальные коротко хохотнули и замолкли, вернувшись к своим тарелкам и поглядывая на Батю.

– Зайдешь после завтрака в воспитательскую. – Батя, чуть ссутулясь, вышел.

Петров продолжал сидеть неподвижно, только уши стали малиновыми.

– Опять кактусы отнимут? – предположил шепотом Митяй.

Прогорлавив обычное: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!», контингент повставал и повалил к выходу.

Ключ, который Батя Виталий достал за несколько шагов до двери, не понадобился, воспитательская была открыта. Шумел чайник, возле него переодевался Денисыч, в трусах и пиджаке; на стуле висели серые брюки.

– Хоть бы закрылись, – сказал Батя Виталий, кивнув на «здрасте».

Они были на «вы».

Денисыч из-за шума чайника не расслышал, взял брюки и стал неторопливо погружаться в них. Застегнул ремень и подобрал с пола снятые джинсы:

– Про корреспондента слышали?

Батя Виталий, успевший устроиться в ободранном кресле,

кивнул.

Денисыч достал три чайных пакетика и ощупывал их, точно между ними могла быть разница.

– Вам сделать? – поглядел на Батю.

– Я вот думаю... куда мы прикатимся? Со всем вот этим...

Да, сделайте.

Денисыч снова ощупал несколько пакетиков и налил в свободную кружку кипятка.

– Контингент всё тупее, – Батя Виталий вдавил затылок в обивку кресла. – Ни читать, ни писать. Первые хоть знали, кто такой Пушкин.

– Пряники будете?

Пряник оказался твердым, Батя размачивал его и скусывал сладковатую кашицу.

– ...А если спросят, почему босиком ходят, – говорил Денисыч, – то ведь так лучше энергетика земли проходит...

Года четыре назад Денисыч устроился сюда психологом. Выглядел он тогда лучше и увлекался психоанализом; имя Фрейда не сходило с его тонких маленьких губ. Потом было увлечение восточной мудростью. Теперь в сумке Денисыча виднелись «Велесовы книги».

– Земля – она всё своей энергией оплодотворяет, – говорил Денисыч, доедая пряник.

Батя поднял голову и прислушался.

Денисыч тоже замер, с раздутыми от пряника щеками и недосказанной мыслью.

«Нет! Не-е-ет!..»

Батя рванул с кресла в коридор. Денисыч трусцой побежал в медпункт.

В конце коридора клубилась толпа.

– Не-е-е... – визжало откуда-то из середины. Батя расталкивал побелевших пацанов.

Дорошенко бился на полу в каше вышедшего из него завтрака.

– По комнатам... – зашипел Батя. Кричать в таких случаях было нельзя, у кого-то еще могло начаться.

Дорошенко поджимал ноги, пытаясь принять позу зародыша. Под рубашкой, измазанной макаронами, краснели порезы.

Батя присел и стал вытягивать Дорошенко ноги, одну, потом другую. Пацаны пятились, но не расходились. Раздался топот, Денисыч тащил заспанного медбрата Колю, тот на ходу распаковывал одноразовый шприц, из последних запасов.

– Идите... Идите, ребятки, – разгонял пацанов Денисыч.

Те отходили, но недалеко; едва Денисыч отпускал их, застывали, повернув головы в сторону Дорошенко.

Медбрат Коля распилил ампулу, поймал плясавшую руку и прижал к полу. Порезы углублялись; Коля мял пухлую дорошенковскую руку и искал вену.

Со второй попытки нашел. Батя к тому времени разогнул Дорошенко ноги. Дорошенко, дернувшись, замолк. Порезы, или, как их правильно называть, стигмы, побледнели. Доро-

шенко засопел и, не открывая глаз, позвал:

– Мама...

Батя поглядел на Денисыча: это была обязанность психолога. Денисыч опустился на пол, чуть брезгливо приподнял запачканную голову Дорошенко и поместил себе на колени. Затем, как и требовалось, погладил два раза по коротко стриженным волосам:

– Я здесь... Я с тобой. Я тебя люблю.

Он припарковался у стены, темноватой от пролившегося под утро дождя.

Ноги, несмотря на включенный обогрев, не хотели согреться.

Взяв нужное, вышел из машины; за спиной хрюкнула сигнализация.

– Некрасов Юрий Сергеевич... – Охранник вернул журналистское удостоверение и поглядел на гостя. – А письмо есть?

Журналист снова запустил руку в сумку. Увидев листок с печатью, охранник кивнул:

– Проходите. Предупреждали нас, – снял с гвоздя синюю куртку. – Пойдите снаружи, сейчас провожу.

Двор «воспитательного объекта» оказался большим и запущенным. У забора, вплотную друг к другу, росли две липы; из-под асфальтовой дорожки лезла молодая елка. Здание было двухэтажным, красного кирпича, и еще для чего-то

крашенное темно-бордовым до уровня второго этажа.

Журналист, достав айфон, навел.

– Нельзя, уберите, – вышел из двери охранник.

– Почему?

Кругом было тихо, и всё, несмотря на солнечный день, отливало серым. Откуда-то доносился ритмичный ржавый скрип. Крик-крик...

– А как я без снимков репортаж сделаю? – спросил журналист, скорее чтобы поддержать беседу.

Крик-крик...

Охранник свернул за угол; журналист поотстал и воровато сделал пару снимков.

Завернув, обнаружил источник скрипа: на качелях качался мальчик лет десяти. Хотя нет, лицо было взрослым. С качелей на интерес журналиста никак не отреагировали. Мальчик-взрослый продолжал раскачиваться, выставив голые пятки.

Перед входом в корпус торчала клумба с георгинами, бархатцами и еще чем-то обычным в таких местах. Из-за густо пробивавшегося сорняка вид у клумбы был слегка запущенный, лохматый.

– Клумбу фотографируйте, – предложил охранник. – Природу можно.

– А царя природы? – попытался пошутить журналист.

С порога, щурясь от солнца, спускался Батя Виталий. Охранник изобразил что-то вроде отдавания чести:

– Гостя привел.

– Юрий Некрасов, – протянул руку журналист, – корреспондент городской га...

– В курсе, – сощурился Батя, сморгнув слезу. – Виталий...

Помолчав, добавил:

– Ильич. Старший воспитатель.

Журналист собрался сказать обычное «очень приятно», но не стал; сделал несколько шагов по ступенькам.

– Виталь-лич, я пошел? – топтался внизу охранник.

– Орлова не забудь покормить... Помрет он на этих твоих качелях.

– Да не помрет. Хорошо ему.

– Всё равно, сказал – покорми... Идемте, – Батя обернулся к журналисту, пропуская его вперед.

До занятий оставалось минут двадцать, Петров сидел в комнате один; Дорошенко оттащили в медпункт, другой сосед, Кореец, ушел в музыкальный класс.

Петров придвинул стул к окну и сидел, обдумывая сегодняшнее утро.

Перед этим пришлось подтирать после Дорошенко. Когда пацаны снова выползли из комнат, Батя, выждав, спросил: «И кто этот компот убирать будет?» Петров молча отправился под лестницу за шваброй. Зато кактусы, как в прошлый раз, не отнимут.

Кактусы, два горшка, стояли перед ним, и он, задумав-

шись, теребил их. Разлапистый, с густыми белыми иголочками, звался Машей. А стоявший рядом, толстый и ребристый, был Валентином. Иглы у него были как пики: с таким лучше не ссориться. Петров, в общем, и не ссорился; наоборот, каждый день поливал их с Машкой, приговаривая что-то вроде: «Жрите, жрите, ребята... Вкусно?» И сам отвечал кактусовым голосом, что вкусно.

Сегодня Петров решил, что кактусам пора наконец признать друг другу в любви. Он сдвинул горшки, не вплотную, а так, чтобы им было удобно общаться.

– Валентин, это ты? – сказала кактус Маша. – Я испугалась.

– Чего ты испугалась? – баском отвечал Валентин. – Я же твой защитник. Я буду тебя всегда защищать.

– А от кого?

– От людей. И от посторонних кактусов, – не очень уверенно сказал Валентин.

– Но ведь тут других кактусов нету... Только мы с тобой.

– Но они могут вторгнуться. Из внешнего мира.

Петров улыбнулся находчивости Валентина и похлопал по горшку: соображаешь!

– Они перелезут через забор на своих суперперелазательных устройствах и попытаются нас убить и захватить нашу цивилизацию. Но им это не удастся. Ха-ха-ха.

– Какой ты смелый... – сказала Маша, подвигаясь впервалочку поближе к Валентину.

Их иглы соприкоснулись. Петров вздохнул.

– Я не такой уж смелый, – смутился Валентин. – Я... я просто тебя люблю.

Петров покраснел и затеребил прыщ на подбородке. Кактусы целовались.

Чтобы Валентину было сподручнее, Петров слегка наклонил горшок, но не сильно, чтобы большой Валентин не раздавил хрупкую Машу.

– Как хорошо... – сказала Маша. – Я не знала, что это так хорошо.

– Мы поженимся, – всё в том же наклоненном и взволнованном состоянии говорил Валентин. – Поженимся, и у нас будут дети... Ой!

Петров быстро выпрямил кактус, а сам подался к окну.

По двору в своей пятнистой куртке шагал Кузьма, бывший прежде воспитателем, а потом ушедший в охранники. За ним шел чужой. На чужом были желтоватая куртка и легкие ботинки. Журналист, догадался Петров, вспотев.

Кактусы, брошенные в самый ответственный момент, растерянно молчали. На иголочках Маши поблескивала слеза.

– На сегодня любви хватит, – Петров раздвигал горшки. – Будут у вас еще дети...

Валентин, отодвинутый на другой конец подоконника, подавленно молчал.

Журналист расположился в воспитательской. От чая от-

казался, раскрыл ноутбук. Выпил бы кофе, но кофе не было.

Здесь, кажется, вообще ничего не было.

– А вай-фай?.. Понятно. Каменный век.

– Раньше всё было, – Денисыч снова ощупывал пакетики с чаем, – и вай-фай, и общественный сахар. Сейчас временные трудности.

– Безвременные, – Батя откинулся и с хрустом вытянул ноги.

– Но, наверное, что-то можно было сделать... – Журналист двигал пальцем, на экране открывались окна.

Он уже успел обойти здание и побывать на двух занятиях. Первым было чтение: Батя Виталий (журналист уже знал, что его зовут так) сидел за столом и записывал что-то; ученики читали книгу, которую передавали с парты на парту. Что это за книга, догадаться по чтению было невозможно; по внешнему виду тоже: обложка и первые пять страниц оказались выдранными. «Там было то, что им не следует знать», – тихо объяснил Батя Виталий. На втором занятии увлеченно лепили каких-то червяков. «Эмбрионы», – еще тише сказал Батя Виталий. «Можно сфотографировать?» – спросил журналист. Батя помотал головой.

На экране ноутбука всплыло окно: пляж, плавки, купальники. Парочка обнимающихся на первом плане, море и горы на заднем. На девушке были темные очки.

Журналист быстро закрыл; кажется, никто не успел заметить...

– Наверное, можно что-то было сделать, – вернулся к своей мысли. – Я и в детдомах бывал, там тоже, конечно... но не так.

– Здесь раньше еще лучше было, чем в детдомах, – продолжая заниматься чаем, откликнулся Денисыч. – Тут знаете какое снабжение было... Четырехразовое питание. Кандидаты наук работали.

При слове «кандидаты» Батя усмехнулся и запустил руку за голову.

– А потом Институт расформировали, и всё... А мы не к социалке, а до сих пор к науке относимся. У них даже паспортов нет.

Всё это журналист знал, но слушал внимательно.

В дверь постучали и дернули ее на себя. Кто-то втолкнул крупного парня с перевязанной головой. Парень взмахнул руками и замер посреди воспитательской.

– Знакомьтесь. Дорошенко, герой дня... – Батя приподнялся. – Садись. Нет, на тот стул. Истратили сегодня на него дефицитную вакцину, которых вообще осталось...

Дорошенко сел и стал искоса разглядывать журналиста.

– Ну, расскажи, куда ты девал свои таблетки... А дело в том, – Батя повернулся к журналисту, – что для профилактики приступов им дают... дорогостоящее импортное лекарство. Покупаемое, между прочим, на валюту.

Дорошенко вздохнул и поскреб поясницу.

– Вот тут говорилось, – продолжал Батя, – что нам средств

мало выделяют... А то, что на эту богадельню тратится в пять раз больше, чем на любой образцово-показательный детдом, об этом иногда забывают.

– Ну, не в пять, – обиделся Денисыч. – В три. От силы – в четыре...

– Вы знаете, сколько стоят медикаменты? – Батя продолжал смотреть на журналиста.

– Сколько? Просто, когда я узнавал, мне сказали, это закрытая информация...

Батя промолчал. Дорошенко наклонил голову и сдавленно чихнул. Поглядел на Батю:

– Можно идти?

– Потом пойдешь. А вначале расскажешь, для чего ты отдал свою таблетку Сергееву.

– Так я же уже говорил. Серый мне айфон давал, пока не застукали.

– Айфоны у нас запрещены, – пояснил Денисыч. – Тлетворно влияют на психику. Приступы учащаются. Это я вам как психолог говорю. И как патриот.

– Ты понял, какому риску ты подвергал себя и своего товарища?

– Понял, – ответил Дорошенко. – Понял, – повторил чуть громче.

– «Мультики» от передоза начинаются... – Денисыч вдруг тихо засмеялся.

– Да, некоторые уже пробовали... на себе, – поглядел на

него Батя.

– Не-не-не, только читал. И по рассказам.

– Зато Серый другую цивилизацию видел, – тихо сказал Дорошенко. – Всё четко.

– Галлюцинации, – вздохнул Батя. – Ладно, иди. Завтра с директором решим, что с тобой делать.

Дорошенко захлопал глазами. С криком «спасибо!» бросился к двери.

– Что «спасибо»? – Батя остановил его взглядом. – Может, еще и не «спасибо» будет... Иди.

Дверь захлопнулась.

– А мне можно будет встретиться с директором? – спросил журналист.

Денисыч снова быстро рассмеялся, так же быстро остыл и зашуршал бумагами. Батя постукивал ребром ладони по столу.

– Директор сбежал полгода назад, – сказал Батя и стукнул чуть сильнее.

– Как «сбежал»?

– С телевизором, – вздохнул Денисыч.

– Это еще требуется доказать, – Батя снова стукнул, чашка Денисыча звякнула. – Да, телевизор исчез в тот же день. Но это еще не значит... К тому же неработающий. Следствие пока не закончено. Скорее всего, и не начато. Но контингент об этом не знает. Для контингента директор в командировке.

– Научной, – поднял указательный палец Денисыч.

– Жалобы ему пишут... На нас. Не хотите, кстати, нашим директором стать? Посодействуем.

Денисыч снова собрался рассмеяться, но, глянув на Батю, не стал. Журналист тоже ответил серьезно:

– Спасибо, но...

– Спасибо? Вот так: все приходят, ах, ох, как тут бедно, как тут плохо... Не хотите директором – просто поработайте. Волонтером, дня два. Тоже нет? Поняли бы многое, на своей... коже.

Денисыч приподнялся:

– Ладно, мне на музыкальное...

– Я бы хотел переговорить с глазу на глаз с парой воспитанников, – сказал журналист.

Денисыч глянул на Батю; тот кивнул.

– С этим... – заметил эту игру взглядов журналист, – который только что был...

– Дорошенко. Еще?

– С тем, который вместо эмбриона кактус вылепил...

– Петров. Всё?

– Позовете?

– А что звать? Дорошенко вон наверняка за дверью трется. Жаловаться собирается. Ну и эти, свои... Не удивляйтесь, если что. В конце коридора свободная комната, можете там с ним... – Батя приоткрыл толчком фрамугу и закурил.

Дорошенко торчал недалеко, у подоконника.

Дождавшись, когда журналист закроет дверь, быстро подошел к нему.

– Извините, можно с вами поговорить?

Журналист собрался сказать про комнату; Дорошенко его опередил:

– Вот там с нами обычно разговаривают... – Мотнул забинтованной головой в конец коридора. И зашагал чуть подпрыгивающей походкой.

Журналист пошел следом, прикидывая, может ли там быть прослушка...

Комната была пустая, не считая двух стульев; на стене висела странная картина. Мадонна с Младенцем, но у Мадонны было почему-то лицо Моны Лизы...

– Раньше прослушивали, теперь – нет, – Дорошенко шлепнул по обивке стула, поднялся фейерверк пылинок.

Журналист удивленно дернул плечом. Видно, напряжение сказывается; начинает думать вслух... Пристроился на краешек стула и раскрыл ноут.

– Хотите, я ваш тоже выбью? Нет? Короче, не так всё было. Мне Серый просто так айфон давал, пока «ангелы» не налетели. А таблетку я сам не хотел пить. Сказать почему?

Журналист кивнул.

– Из-за вас. Ну, я уже знал, что вы придете. А таблетка подавляет, понимаете? А надо было, чтобы вы поверили. А после таблетки я так не могу... Я, конечно, не думал, что приступ будет, думал, пронесет...

– Во что я должен поверить?

– Ну, вы же про нас изучали... Статью пишете. Изучали, я знаю. Я умею мысли читать. Не верите?

– Верю...

– После таблетки тоже могу, только плохо. А Серый видит, я не принимаю... Ну жалко мне, что ли? Он мне айфон всегда давал.

– Вы мне только это хотели рассказать?

Дорошенко улыбнулся и снова почесал ногу.

– Прикольно, когда на «вы» называют.

Журналист тоже улыбнулся. На экране был список заготовленных вопросов, он разглядывал их, соображая, с какого начать.

– Заберите меня отсюда... – Дорошенко сидел бледный и потный, в очках, и глядел на него в упор. – Вы же всё равно собирались одного из нас забрать, так? Возьмите меня.

Журналист выдохнул, снял ноут с колен и опустил на пол.

– Вы же видите, я мысли читаю, это вам может пригодиться. Меня раньше здесь знаете как наблюдали? Других тоже... но не так. Меня даже цыганская община хотела выкупить, – Дорошенко заерзал на стуле.

– Как тебя зовут?

– Дорошенко...

– Имя.

– Хохол. Можно – Татарин. «Хохол» мне больше нравится. «Татарин» – ругательно будто.

– А нормальное имя?

– Типа «Миша, Петя»?.. Не. Отец Геннадий хотел нас тут окрестить... Сказали: не, нельзя, эксперимент будет не чистым. Это когда наблюдение еще шло. А сейчас уже сам не хочет. Раньше у него из головы золотистый пар поднимался. А сейчас почти только такой... синеватый. Страх, значит. Усталость.

– А у меня какой?

Дорошенко склонил голову набок, прищурил правый глаз.

– Не обидитесь, что не скажу? Ну, не сейчас... Ну, забереете? Я уже вещи сложил.

Журналист молчал.

Дорошенко поднялся и отряхнул сзади брюки. Показал на картину:

– Класс, да? Это один тут рисовал, цветными карандашами.

Журналист прищурился. Да, цветные карандаши...

– У него кликуха была «Художник». Потом умер... Все картины увезли, а эту Батя спрятал. Я вообще-то... может быть, скоро тоже умру.

Журналист прикрыл глаза.

– Так что больших неудобств не доставлю, – гремел голос Дорошенко. – Осталась где-то неделя, две. Просто посмотрю, как там, у вас. У вас же одна свободная комната есть, в которой раньше жила эта ваша, как там...

Журналист открыл глаза. Дорошенко сидел и расчесывал

руку.

– Это аллергия, после укола... Знаете, у нас тут некоторые хотят туда, чтобы родителей найти. Чтобы убить их, реально. Или простить, тоже точка зрения. А мне наплевать, хотя я даже имена знаю, – Дорошенко перестал расчесывать и скривил губы. – Другие... – быстро застегивал рукав, – хотя с девушкой познакомиться, хотя нам это тоже нельзя. Эксперименты были, слышали? Девушек сюда привозили. Двое наших прямо на первом свиданье того... от любви. Приступ, пацанов полуживыми с девчонок сняли. А мне на эту вашу любовь тоже наплевать. Я хочу просто...

За стенами зазвенел звонок.

– Ладно, мне на музыкальное... – Дорошенко стоял у двери. – Если нет... Тогда можно попросить? Айфончик, самый дешевый. Через Кузьму, охранника, передадите, только верхняк ему немного дайте, он иногда посылочки передает. А тапочки и обувь вообще не надо, всё равно не разрешат. Батя любит, чтобы у всех одинаково всё было, включая ноги.

Журналист постоял и вышел следом за Дорошенко. Где-то стучало расстроенное пианино. Журналист вернулся в комнату, поднял забытый ноутбук и пошел по коридору.

Музыкальный класс был на том же этаже. На стенах висели портреты, под ними на стульях, ящиках и стопках газет устроился контингент. За пианино сидел Денисыч и наигрывал одним пальцем знакомую мелодию; пацаны подтягива-

ли. Заметив журналиста, Денисыч смутился и убрал руку за спину.

– Бетховен, Людвиг ван. «Ода к радости». Из числа рекомендованных произведений... Что сидим? Все встали!

Контингент, гремя стульями и ящиками, поднялся. Дорошенко стоял возле коробки от бананов.

– А что в этот список еще входит? – Журналист поискал глазами Петрова. Тот стоял, прислонясь к подоконнику.

– Классика, – отвечал Денисыч. – Русские напевы. Золотые коллекции.

Журналист поблагодарил и собрался уходить.

– Подождите... Петров, сними портрет Модеста Петровича Мусоргского и преподнеси его нашему гостю.

– А почему я? – отозвался Петров. – Пусть Два-члена снимает, он выше.

Пацаны зашумели. Денисыч несколько раз ударил по клавишам.

– Петров, тебе не хватило сегодняшнего?

– Зачем, не нужно, – говорил журналист, слегка наклонясь к Денисычу.

– Вы не понимаете... Великий русский композитор, автор «Бориса Годунова»... Петров, другой стул возьми, этот поломанный!

– А кто из них – этот... ну... Му... – Петров застыл со стулом.

– Ну вот, он даже не помнит! Автора «Бориса Годунова»,

члена «Могучей кучки»... – развел руками Денисыч. – Этот!

Ткнул пальцем в Чайковского.

Журналист стал разглядывать пианино.

Петров встал на стул, до портрета было еще далеко.

– Может, я его шваброй собью?

– Я тебе собью!.. Митяев!

Митяй, попрыгав на стуле, ухватился за портрет и вместе с ним полетел на пол.

– Не сильно?.. – Денисыч забрал у поднимавшегося Митяя портрет, подышал на стекло и протер краешком портьеры. Сыграл одним пальцем туш. Контингент похлопал, кроме Митяя, потиравшего ушибленный бок.

Журналист повертел портрет в руках и решил забыть его перед уходом в воспитательской. Быстро поблагодарил и повернулся к двери.

– А теперь – наш музыкальный подарок... Цой!

К инструменту вышел смуглый паренек, казавшийся младше остальных, и легко поклонился. Контингент замолк, Денисыч пересел с крутящегося стула на обычный и закинул ногу на ногу.

Начал паренек тихо, пальцы двигались уверенно; мелодия, которую журналист когда-то слышал... Конечно, вспомнил. Франк, органная прелюдия си минор. Подался вперед, вдавившись грудью в ребро инструмента.

Крым, середина двухтысячных; Новый Свет, куда они с

Никой добрались из Судака, облизав старую крепость. Попробовали море, Ника была в темных очках. Потом шли по тропе. Внизу, под скалой, качалось темно-синим стеклом море; низкие ветви крымской сосны, через заросли которой они с Никой шли, касались головы и осыпались сухими иглами. . . Ника шла молча, с наушниками в ушах; он держал ее за руку. «Вот, послушай. . .» Она остановилась, отлепила один наушник. Он придвинулся к ней и вложил в свое ухо теплый кусочек пластмассы с пористой подушечкой. . . Где-то далеко зашелестели аплодисменты, сливаясь с шумом воды; еще дальше, за кромкой моря, загудел орган. И они пошли дальше, как сиамские близнецы, связанные тонкой пуповиной музыки, перед которой вдруг отступили и море, и поросшие хвоей скалы, и катера внизу, оставлявшие в синем стекле длинные белые порезы. . . Орган, казавшийся ему прежде холодноватым инструментом, звучал тепло; впрочем, всё в то крымское лето было теплым: волны, швырявшиеся галькой; и вино, которое они пытались остудить; и пыльные спальники, в которые забирались на ночь. . .

Пальцы остановились, звук медленно гас.

Паренек так же легко поклонился; контингент захолопал. Хлопки заглушил звонок.

Последние пацаны выходили из класса; журналист заметил смуглое лицо Цоя.

– Ты где-то учился музыке?

– Н-нет... П-прихожу сюда иногда поиграть.

– А как выучил эту прелюдию?

– Н-ночью приснилась. Утром вот подобрал... Я пойду?

В дверь заглянул Денисыч.

– А мы вас потеряли. Идемте, отобедаете с нами.

– Да нет, спасибо. Не проголодался еще. Лучше посижу где-нибудь, напишу.

– Я вам тогда воспитательскую открою. Там кресло есть, и чайник, если что.

– А после обеда хотел бы с Петровым...

– Торопитесь?

– Работа такая.

– Понятно. В вечной погоне... В вечной погоне, говорю, за сенсациями... – Денисыч отвел гостя в учительскую, включил ему свет и отправился в столовую, продолжая поднимать брови и посмеиваться.

Журналист открыл ноут и подул на пальцы, пытаясь согреть.

Приказ о его увольнении был подписан вчера.

Главный даже не вызывал его к себе. Позвонила Валерия, вечером. Причины? «Ничего не знаю, решение Главного...» Главный в этой передрыге был не главным, даже не второстепенным... «Завтра постараюсь разузнать, перезвоню...» – шумела Валерия из айфона, поставленного на громкость: он как раз ехал к себе и чуть не проскочил на красный. «Зав-

тра» – значит «сегодня». Ничего она, конечно, не будет узнавать...

Встал, погасил едкий люминесцентный свет, сейчас особенно раздражавший его.

Знал он, что его за всё это не погладят по головке? Знал. Решил поиграть в девяностые. Хорошо, если увольнением всё ограничится.

С другой стороны, была ведь договоренность. Он забирает, статья не выходит. Он остается в газете, даже, может, с повышением.

Журналист поставил портрет Чайковского, прислонив его к стопке бумаг. Что скажете, Пётр Ильич?

Композитор отбликивал и молчал.

А может, Пётр Ильич, увольнение – просто «черная метка»? Чтобы аккуратно себя сегодня вел, не дурил, не лез во все дырки... Исполнил танец маленьких лебедей и без шума удалился, занавес. Иначе придется танцевать умирающего лебедя... Помню, это не вы, это Сен-Санс. Простите, к слову пришлось.

– Что это вы в потемках? – Батя щелкнул выключателем и вошел, распространяя кислотоватый запах столовой.

Воспитательская осветилась.

– Глаз, что ли, не жалко? – остановился Батя у стола. – И в столовой не были. На диете?

Журналист ограничился кивком: коротких ответов у него

не было, а пускаться в объяснения... Задал подготовленный вопрос:

– Как вы думаете, что с ними будет дальше?

– А я не думаю, – Батя пожал плечами. – Что смотрите? Не умею. Все, кто думал, уже поуходили. Вон, последний мыслитель остался, – кивнул в сторону входившего Денисыча.

Денисыч поставил на стол литровую банку, слегка запотевшую изнутри.

– Это вам на второе, треска с перловкой, – водрузил сверху толстый кусок хлеба. – Русскому человеку надо хорошо питаться.

– Вот тут пресса интересуется, что будет дальше с контингентом, – сказал Батя.

– Все попадут в рай.

– Некрещеными? – уточнил журналист.

– В буддийский какой-нибудь, – Денисыч поправил хлеб, собиравшийся упасть. – Или славянский. Веды, между прочим, наши славянские книги.

– Хорошо, – перебил Батя, – рай – это долгосрочное... А поближе?

Денисыч поглядел на Батю: ты-то что меня интервьюируешь?

– Я почему спрашиваю... – сказал журналист. – Четыре года, как Институт расформировали. Исследования признали неперспективными.

– Признали.

– Вам перестали поставлять новеньких...

– Какое-то время они еще шли, – Денисыч поглядел на Батю, но тот молчал. – Институт не сразу закрылся, у них работали еще эти...

– Инкубаторы, – кивнул журналист.

– Ага. Ну и вот.

– Хорошо, новых уже не будет. Но с этими – что? Будут торчать здесь до самой старости?

– Не доживут, – резко откликнулся Батя. – Смертность высокая... И вообще. Поймите наконец: они не люди.

– А кто?

– Да кто угодно. Инопланетяне. Животные.

– Но животные не могут писать музыку, рисовать картины... Они же гениальны.

– Начинается... – Батя хлопнул ладонью по ноге. – Кому такая гениальность сегодня, на хрен, нужна? Вы же помните речь на закрытии Института...

Журналист кивнул: ролик до сих пор висел в Сети. «Стране не нужны отклонения, не нужны, извините, гении, – говорил в микрофон человек с короткой шеей, перехваченной серебристым галстуком. – Стране нужны нормальные эффективные граждане...»

– И это правильно, – Батя встал. – Гении были нужны раньше, в прежние эпохи. Когда надо было что-то изобретать, что-то там менять, придумывать. А сейчас нужны... пользователи. Грамотный, четкий пользователь. Кото-

рый правильно нажмет кнопку. Который вовремя сделает апгрейд. А не расхуячит всё, потому что он, видите ли, гений!

– А по моей теории... – начал Денисыч, но примолк. Батя обошел кресло и присел на спинку:

– ...И потом, может, в чем-то они гении, но в остальном... – поглядел на Денисыча. – Что-то хотели сказать?

Тот махнул рукой.

– Так что в остальном? – переспросил журналист.

Батя вытряхнул сигарету и закурил.

– Спросите их, кто такой Пушкин, – Батя выдохнул дым, – не скажут. Проходили... Ничего не помнят, – замолчал, выдал слезу и растер пальцем.

– А по моей теории, – вступил Денисыч, – у нас просто эра такая сейчас. Эроса. В России так всегда, сначала эра Эроса, потом Танатоса, потом снова... Или, если по-славянски, эра Леля и эра Велеса. Сейчас, значит, Эроса. Оттого кругом столько либидо. И пользователи нужны, а не гении. А потом, может даже скоро, наступит эра Танатоса... Велеса то есть. Придут войны, эпидемии. И тогда о нас вспомнят. Потому что их кнопки и сексорные экраны уже не помогут...

– Сенсорные, – поправил Батя.

– Да. И мы явимся тогда во всей красе, как град Китеж и золотой фонд нации...

Батя отвернулся, чтобы зевнуть не слишком заметно.

В дверь постучали.

– Да! – на полузевке крикнул Батя.

В воспитательскую заглянула голова Петрова.

– А вот и ваш золотой фонд... Заправься, рубашка болтается. – Батя загасил сигарету, повернулся к журналисту: – Идите беседуйте.

Они молчали.

Петров, зайдя в комнату, быстро подошел к окну и встал так, словно собирался отбиваться. Журналист присел на стул и открыл ноутбук, делая вид, что ищет нужное... Ничего не искал, кружил курсором по пустому экрану.

– А вы писатель?

Журналист поднял голову.

– Журналист... А что?

– Да так, история одна есть. Можно из нее рассказ сделать. Хотите? Только вместе писать будем... Я бы сам написал, просто русский язык не люблю.

Журналист подвинул холодными руками стул.

– Сядешь?

– Не. В общем, такое... Кактусы – это такие инопланетяне, которые понемногу колонизируют Землю, – помолчал. – Возражений не вызывает?

– Пока нет.

– Иголки – антенны, через которые они общаются друг с другом и со своей цивилизацией.

Журналист кивнул.

– Они проникают в доверие к землянам, – Петров про-

шелся по комнате. – Поселяются у них в домах, на окнах. Земляне, конечно, относятся к ним сначала с недоверием, из-за колючек. Но кактусы на это научились цвести. Имитировать цветы, в общем. Это понятно?

– В целом, – журналист открыл на экране новое окно. «Кактусы...»

– Будете записывать?.. Валяйте. Постепенно кактусы начинают навязывать землянам свою психологию. То революция, то диктатура, то капитализм, то еще какая-то хрень... «Хрень» не пишите...

Журналист снова кивнул.

– А всё, главное, через колючки. Человек укололся – пожалуйста, импульс. Но земляне-то тоже не дураки. Смотрят, что-то не то. Цивилизация их не туда катится. Сначала думали – евреи, потом – черные маги; оп! а это кактусы. Запене... ленговали их сигналы, короче. Ученым – Нобелевскую, а сами кактусы... – Петров вздохнул.

– Под корень?

– Типа того. Апокалипсис, как выражается отец Геннадий. Но не всех. Писатели подняли шум, которые в газетах...

– Журналисты...

– Ну да. И эти, которые за деревья борются. Пусть, типа, инопланетяне, но хоть немного надо сохранить, правильно? Для природы. Те кактусы, которые спасли, устроили им вроде приюта. Колючки только подбрили, чтобы могли между собой общаться, а на людей воздействовать – нет. Ну вот. А

в этом приюте...

Петров замолчал.

– И что в приюте? – Журналист оторвал глаза от экрана.

– Так я всё и рассказал! Вместо меня всё опубликуете, еще под своим именем.

Журналист поднялся.

– Я готов, – голос его звучал глухо, – чтобы это всё вышло под твоим именем. Только под твоим. Как тебя зовут?

– Петров.

– Это фамилия. И не настоящая.

– В смысле – не настоящая? Есть такая фамилия!

Петров снова занял позицию у окна.

– Есть, – журналист подошел к нему, положил руку на подоконник. – Только у тебя должна быть другая.

Петров опустил глаза. Журналист осторожно провел ладонью по его мятой рубашке.

– Можно теперь я тебе расскажу историю... Только не про кактусы.

Это были, по сути, две истории.

Какую рассказать первой?.. Наверное, ту, которая началась в Крыму, она короче. Днем они лазали по горам, обгורали, тянули сладковатое вино из фляжки. А вечером сползали с гор и сидели у огня. Он придумывал на ходу разные истории: про сосны, камни. Про шишки, которые они швыряли в костер.

О беременности Ника сообщила на обратном пути, в поезде. Он задал идиотский вопрос, который задают в таких случаях все мужчины всех времен.

«Уверена», – кивнула Ника и ушла курить в тамбур.

Нет, они, в общем, собирались пожениться, когда-нибудь. В принципе, они уже жили как семья. Почти.

Он встретил ее на выходе из клиники с цветами. Шли, не зная, о чем говорить. Мимо прострекотал велосипедист, где-то завывла сирена. Он погладил ее по плечу, она отвела его ладонь.

Они продолжали жить вместе, Крым иногда возвращался, они пили кофе с ромом, сидели в ванне, болтая, как снова поедут туда. Или еще куда-нибудь.

Ника стала довольно раскрученной интернет-журналисткой. Он сидел в своей газете. В Крым они так и не съездили. Съездила Ника одна, уже когда он стал российским, на какой-то тренинг. Он не поехал.

У него появилась еще одна женщина. Временно, ничего серьезного: «серьезным» для него была Ника. Но Ника постоянно уезжала. На сетевые тусовки, журналистские шабаши, конференции с унылыми названиями, где, по ее словам, было много нужных людей. В ее забытом однажды айфоне обнаружилась россыпь эсэмэсок от какой-то «подружки Ксюши».

Они прожили вместе еще полгода. Она исчезала всё надольше; к нему в отдел пришла молодая сотрудница... да, та

самая Валерия, смышленная и без комплексов.

«Подружка Ксюша» оказалась невысоким плотным узбеком из местной деревообрабатывающей компании.

Ника собрала вещи, он произнес идиотскую фразу, которую произносят в таких случаях все мужчины всех времен. «Друзьями», – кивнула Ника, застегивая сумку.

Внизу в джипе дождалась «подружка Ксюша».

Он постарался забыть о Нике, и это почти получилось.

Если вспоминал, то почему-то даже не Крым, а разогретый вагон. Лязг колес и ее короткая фраза: «Подзалетела».

Ту-ту, ту-ту... ту-ту, ту-ту...

Когда он впервые, еще в школе, услышал это слово, ему представилась девочка, качающаяся на качелях. Качели раскачиваются всё сильнее, всё выше, так что ветер взметает юбку и всё видно. Девочка визжит, не удержавшись, летит вверх и плюхается лягушкой в траву.

Он съездил в Японию, по программе для журналистов.

«А это что?» – он остановился возле небольшой бамбуковой рощицы. Под зелеными стволами разместился выводок маленьких идолов в красных вязаных шапочках и слюнявчиках. Рядом шелестела вертушка. «Дети воды», – ответил экскурсовод. Так называют нерожденных детей. Из-за выкидыша, но чаще тех, кому не дали родиться.

Он снова вспомнил Нику.

Здесь, около бамбуковой рощицы, кончается первая история. Длинные стволы гнутся и раскачиваются, крутится раз-

ноцветная вертушка.

Петров чуть присел на подоконник, приподняв холодные пятки. Солнце пошло на закат и освещало его сзади; лицо было в тени.

Вторая история началась там же, в Японии.

– Ночью ко мне в номер позвонили...

Нет, началась она, конечно, раньше. В самом начале двухтысячных, когда весь мир узнал о достижении российских ученых. Достижении, перевернувшем представления о жизни и смерти.

А может, и еще раньше. Когда группа медиков, биохимиков и инженеров начала свои первые эксперименты. Строго засекреченные. Речь шла ни больше ни меньше о воскрешении. Пока только до рождения.

Вскоре гипотеза, что в развитии плода существует такой короткий промежуток – его называли «точка V», от латинского Vita, – когда даже смертельно поврежденный плод можно оживить, была подтверждена. Правда, не полностью. Крысы оживали. Собаки. Оживший человеческий плод жил недолго.

Группа была оформлена в отдел, а в начале восьмидесятых – в Институт.

В девяностые Институт, как и всё, сел на мель. Но выжил: повезло с директором. Маленький, живкий, из «шестидесятников», он каким-то чудом добывал средства. И сохранил коллектив, который уже расплзался, как манная каша.

Когда один из ключевых сотрудников заявил, что собирается уехать в Штаты, директор ответил, что заявление подпишет... Только, э-э, просит задержать отъезд, чтобы тот проводил его в последний путь... Говоря это, директор ловко вскочил на подоконник: окно было раскрыто, кабинет на десятом этаже... Сотрудник успел ухватить его, когда тот уже шагнул вниз. Больше с такими заявлениями к нему не приходили.

Зарплаты, как рассказывали журналисту прежние сотрудники, были нормальными, еще постоянно какие-то гранты. Эксперименты шли по намеченному графику. Инкубаторы не отключались ни на секунду.

В середине девяностых директор крестился, и еще несколько сотрудников с ним. «Первый раз академика крещу», – шутил молодой батюшка, окончивший когда-то биофак МГУ. Здание освятили, инкубаторы окропили. Перед началом каждой новой серии экспериментов служили молебны. Скептики и атеисты стояли на них с кислым видом, но не сбегали, уважая шефа. В Церкви тоже не все отнеслись к этим опытам однозначно. Но это проявилось потом. Пока епископы охотно приезжали в Институт и фотографировались на фоне инкубаторов.

И вот, в самом начале двухтысячных... Все, конечно, помнят эти снимки. Новорожденный Вася Потапов. Да, голова чуть крупновата. И вес маловат. Что вы хотите, с того света вернули. Выкидыш, всё зафиксировано. Да, еще будет нахо-

даться под наблюдением. Родители? Нет, родителям возвращать не будут, мать подписала соответствующие бумаги. Вася принадлежит науке. И зовут его по-настоящему не Вася, и фамилия не Потапов...

Следующая сенсация, следующий младенец. Уже не выкидыш: аборт. Многие отказывались верить, прежде всего медики. «Невозможно...» Академики ходили именинниками; иереи напоминали о кроплении инкубаторов и отслуженных молебнах. «Чудо...» Мировая пресса кипела, об овечке Долли забыли: «Сенсационное открытие русских!», «Русские победили смерть!» Институт посетил президент, побаякал знаменитого младенца Васю и сфотографировался с директором.

– Тогда, в начале двухтысячных, – говорил журналист, глядя в пятнистый пол, – повеяло чем-то новым. Какой-то момент казалось, страна снова возродится, с великой наукой, литературой, всем... Это была, наверное, наша точка V. А потом...

Вася Потапов, прожив два тяжелых для себя года, умер. Тысячи людей оплакали его, к стенам Института натащили игрушки и зажженные свечи. Но многие оживленные и выношенные в инкубаторах после него продолжали жить. Смертность, конечно, была высока, и в инкубаторах, и после рождения. Но постепенно, с огромным трудом, уменьшалась. С приступами, от которых многие умирали, научились как-то бороться. Кто-то уже до четырех лет дожил, до

семи...

Решили построить специальный детдом, по последнему слову науки; даже начали стройку. (Журналист был там на прошлой неделе, фотографировал котлован...) А пока, временно, переоборудовали один бывший детсад. Сельская местность, чистый воздух. Воспитатели не ниже кандидатов наук.

А потом поползли трещины. Вначале мелкие, едва заметные. Снова урезали финансирование: кризис. Возникла какая-то организация, объявившая работу Института «делом Антихриста»; к Институту двинулось шествие, зажгли свечи, расписали стену проклятиями. Умер старый директор. Новый, из его учеников, был тоже видным ученым. Но выбрасываться из окна из-за ухода сотрудников он бы не стал.

Журналист запнулся, почувствовав, что начал пересказывать свою недописанную статью.

– Ну, остальное ты, наверное, уже помнишь. У вас же был тут телевизор.

Солнце садилось и жалило глаза; он прикрыл лицо ладонью.

– Не, – пошевелился Петров. – Как только начиналось про нас, «ангелы» тут же переключали.

– Ангелы?

– Воспеты. Воспитатели. Это их отец Геннадий так назвал. Воспитатели, они для вас, говорит, как ангелы должны быть...

Журналист поглядел на часы. Нужно переходить к главному, иначе не успеть. Провел ладонью по стене и нащупал выключатель.

– Я приехал за тобой. У меня есть разрешение. Я приехал тебя забрать.

– Да, – Петров чуть сощурился. – Мне уже один наш сказал.

– Этот... Дорошенко?

– Ну. Он вначале решил, вы за ним явились. В туалете потом ревел... Не поеду я.

И стал очень похож на Нику.

– Ты... Как? Я понимаю... – журналист пытался вспомнить, что он собирался в этом случае говорить. – Я виноват. Да. Теперь мы будем жить вместе. Я буду о тебе заботиться.

Петров помотал головой.

– Почему?!

Петров пожал плечами.

Журналист погладил его по спине; Петров глядел, покачиваясь, в пол.

– Ну давай, – журналист приблизил к нему лицо, – давай, быстренько собирайся...

Петров молчал.

– А Машу с Валентином? – спросил наконец.

– А кто это?

– Ну... Кактусы такие.

– Да, – журналист выдохнул с облегчением. – Конечно, возьми. И Машу, и... Там у тебя комната своя будет, можешь ее всю кактусами заставить...

Петров снова замотал головой:

– Не.

– Я тебе объясню... – Журналист помолчал. – Ты не можешь больше здесь оставаться.

Петров поднял глаза.

– Я встретил человека, – быстро заговорил журналист. – Да, там, в Японии, я начал уже рассказывать... Одного из бывших. Он сам на меня вышел, сам позвонил мне в номер. Это тайна, он рисковал, понимаешь? И списки он мне тогда дал. Всех вас. И фамилия, имя, отчество матери. Стал просматривать – бац! – Ника. И сроки все совпадают... Хочешь, я ее разыщу?

Петров молчал.

– Поехали, – журналист взял его за плечи и легонько встряхнул. – Понимаешь, здесь скоро... Здесь тебе нельзя быть. Я потом тебе объясню. Здесь тебе оставаться нельзя.

Петров резко снял ладони журналиста с плеч и вышел из комнаты.

«...Я встретил человека. Да, там, в Японии, я начал уже рассказывать... Одного из бывших. Он сам на меня вышел...»

Журналист рывком открыл дверь воспитательской.

В кресле сидел Батя Виталий и держал айфон.

– Давно не включали... Думал, уже не работает. Работает, звук только грязноват.

«Понимаешь, здесь скоро... Здесь тебе нельзя быть. Я потом тебе объясню...»

Журналист тяжело сел на стул. Запись кончилась.

– Любопытно, – Батя спрятал айфон. – В общем, как и ожидал. Можно, кстати, поглядеть на разрешение забрать этого?..

Журналист порылся в сумке.

– Любопытно, – повторил Батя, разглядывая листок. – Это вам дали в обмен на молчание?

Журналист кивнул.

– Инъекций осталось на три приступа, – Батя склонил голову. – Таблеток – на месяц. Медикаменты, кстати, дорогущие, и в аптеках нет, не знаю, как вы там собирались... Если только не пообещали вас ими снабжать. Пообещали? Так что вам еще сообщил этот камикадзе?..

– Что планируется их усыпить... – журналист сглотнул. – Есть уже решение...

Батя Виталий подался чуть вперед.

– Об этом мы тут тоже слышали... – закашлялся. – Ну что, теперь будете писать? Всю правду-матку? Понятно. Петров же с вами отказался... И правильно сделал.

Журналист сжал губы.

– Не выживают они в мире, – Батя чуть улыбнулся. – Одно

время американцы сюда пытались, давайте, мол, усыновим. Потом, конечно, эту лавочку с усыновлением прикрыли. Но двоих всё-таки успели усыновить. Ну и что? Один через год отключился, второй – чисто уже как овощ, в клинике на одних капельницах... Вон у нас даже из монастыря одного приезжали, игумен у них сердобольный... «Давайте, они у нас воспрянут». Трое ушли, одного даже в монахи успели... Не приживаются. У них одно в сознании – в мамочкину утробу обратно залезть. Это для них рай. А всё, что потом, это для них ад. И нынешнее их здесь... Даже если плясать на цыпочках перед ними будем.

– Но что-то же надо делать...

– Надо. Тоже пару лет назад голову ломал. Потом решил. Ушел из... Ушел, короче, с прежней работы, устроился сюда. Полгода назад уволили, под сокращение. Ничего, снова взяли. Работать некому. Я, Денисыч, еще ночной воспитатель придет, волонтер местной церкви.

– Зарплата маленькая?

Батя хмыкнул.

– Тогда что вас держит?

Батя поднялся, захрустел пачкой сигарет.

– Сын. Тоже сын.

Журналист медленно встал:

– Дорошенко?

– Не угадали. – Батя закурил. – Цой. Пианист, помните? Да, не похож... Мать кореяночка была, в музыкалке. А муж

моим сослуживцем... Ладно. Уходить собираетесь?

Журналист кивнул.

– Композитора не забудьте, – Батя протянул портрет.

Журналист помотал головой. Остановился в дверях.

– А если их всё-таки усыпят?

– У меня для себя тоже приготовлена ампула... Ну, – Батя пожал холодную руку журналиста. – Приятно было познакомиться. Не будете Денисыча дожидаться? Ладно, передам спасибо. Кстати, – понизил голос, – будете садиться в машину, осмотрите повнимательней. Бардачок, багажник... Ну, – снова прибавил звук, – желаю удачи.

Журналист прошел по коридору, спустился по лестнице, остановился и прислонился к стене. Постояв минуту, оттолкнулся и пошел к выходу. Снова остановился.

Где-то наверху шла возня, загремели по лестнице шаги.

– Юрий Сергеевич! – шел к нему Денисыч. – Простите!

Подошел, запыхавшись, и протянул портрет.

– Простите, перепутал. Сам не знаю как. Вот он, Мусоргский, Модест Петрович. А тот... – махнул рукой.

На лбу воспитателя алела ссадина.

– Да, пришлось вот самому доставать... Контингент на ужине, просить некого. Может, поужинаете с нами? Нет? Каша рисовая с компотом.

Журналист поблагодарил. В другой раз.

Денисыч вызвался проводить до ворот.

Успело похолодать, что-то сверху, поблескивая, летело. Обошли темную клумбу. Всё тот же, как и утром, скрип качелей. Только прибавился сухой простуженный голос, что-то бубнивший... Журналист прислушался.

«Я так уснул, что если бы не память... Я смог бы спать до Страшного Суда... Когда бы глаз моих сырую мякоть... С ресниц не морозила жилка льда...»

– Орлов, – Денисыч мотнул головой в ту сторону. – Целый день качается, вечером начинает стихи свои... Сколько раз его оттуда снимали...

«Я так уснул, но заиграли птицы... На флейтах из речного камыша...»

Они завернули за угол, слова стали неразличимы, только скрип доносился.

Журналист остановился, поглядел на корпус.

– Приходите еще, – поежился Денисыч, вышедший в одном пиджаке.

Они уже были возле будки охраны. Внутри горел свет, был виден затылок Кузьмы.

– Приду, – журналист продолжал глядеть на окна второго этажа. – Может даже, навсегда.

Последнее было сказано тихо, и Денисыч, начавший подмерзать, не расслышал. Мужчины попрощались, журналист дернул дверь; Денисыч, втянув голову, заспешил в корпус.

Ужин шел к концу, дежурные уносили пустые липкие та-

релки.

Вошел Батя.

За столами притихло и сжалось.

Батя медленно обошел столы.

– Петров!

Петров поднял голову.

– Двадцать отжиманий и дежурка завтра по кухне.

– За что?

– За всё. И еще пять отжиманий за дурацкий вопрос...

Дорошенко!

– Здесь! – вскочил Дорошенко.

– Пятнадцать отжиманий.

– Прямо... сейчас?

– Нет, когда срать пойдешь.

Контингент осторожно засмеялся.

– Цой!

– Да.

– Что – да? Что смеешься?

Цой заморгал.

– Тоже пятнадцать отжиманий. За неуместное чувство юмора. Поехали.

Петров, Дорошенко и Цой обреченно вышли из-за столов и опустились на пол.

– А вы все что молчите? – летел сверху голос Бати. – Считаем. Р-раз...

– Два... – откликнулся хор.

Пол то приближался, то отдалялся. Из живота кисло давила рисовая каша. Клацали об пол пуговицы, у Дорошенко свалились очки.

– Три-и...

Петров долго не мог уснуть, болели руки и не согревались пятки.

Дорошенко, повздыхав, заснул; спал с приоткрытым ртом. Кореец, как обычно, во сне напевал, к этому в комнате давно привыкли и не будили, чтобы заткнулся. Всё равно уснет и будет снова петь.

Петров сел на кровати и поглядел на свои кактусы. Они так и стояли на разных концах подоконника. За окном тяжело лил дождь.

– Маша, – тихо позвал Валентин.

– Ну что?.. Я сплю.

– Маш, у меня, оказывается, отец есть. Представляешь? Настоящий, как в кино. Писатель... журналист. Собирался Батю уволить и меня забрать. То есть нас с тобой. А я ему: мы должны это обсудить с Машей... И связаться с нашей цивилизацией. А пока не свяжемся и не получим сигнала – не-е... Не удастся вам, земляне, нас снова перехитрить, да, Маш?

Маша молчала: то ли вправду спала, то ли обдумывала.

Петров погладил горшок с Валентином; Машин не стал, чтобы не тревожить.

Забрался обратно под одеяло, согнул ноги и поджал их к животу. И какое-то время, пока не заснул, еще слышал пение Корейца и стук дождя.

Наверх!

Утро в девятиэтажке.

Обычное утро в самой обычной девятиэтажке. На первом этаже пахнет жареным луком, открывается дверь, дети уходят в школу. Прощаются, топают вниз, дверь закрывается, запах лука остается.

На пятом этаже оживает железная дверь, выходит Сухроб-ака¹. Белая рубашка, черный галстук, запах дезодоранта. Очень похож на начальника, для полного сходства только чего-то не хватает. «Та-а-ак!» – говорит Сухроб-ака. Вот теперь, после этого «та-а-ак!», он уже совершенно начальник, даже муха, ползущая по дверце лифта, останавливается и поглядывает на него с почтением. А может, просто его белой рубашкой заинтересовалась, кто ее знает?

«Кисочки! Кисочки! Мои кисочки!» Открывается дверь на восьмом, и две кошки, вернувшиеся со своих ночных занятий, ракетами залетают внутрь. Выглядывает седая голова в очках, присматривается, втягивается обратно, тарыхтит замок, звякает цепочка.

На втором этаже начинается уборка. Машхура-хон, двадцать два года, ведро, тряпка, ручки по ступенькам.

«А-а, убираемся? Субботник делаем? – спускается с тре-

¹ Акá – старший брат; уважительное обращение к мужчине.

тьего Рыхсыбой-ака, он же Шпион-Иваныч. – Правильно. Молодец. А воды зачем столько? Как какой? Воду экономить надо. Вода – наше богатство. Аш-два-о! Всему вас, так сказать, учить приходится!»

Машхура-хон смотрит ему вслед, отжимает тряпку, вздыхает.

В этот момент на седьмом этаже происходит борьба: пухлый мужской палец борется с кнопкой вызова лифта. Давит на нее, тербит, постукивает, скребет ногтем. Кнопка горит нежным рубиновым светом, лифт не шелохнется. Палец наносит еще несколько ударов и исчезает. Появляется кулак и бьет по красному огоньку. «Мама! Мама, лифт опять не работает! – Олим-ака дует на отбитый кулак. – Позвоните вашему лифтеру!» – «Почему это он мой? – Появляется Бриллиант Садыковна в махровом халате. – Весь подъезд на лифте катается – а как звонить лифтеру... Сам вот возьми один раз и набери номер, как мужчина... Э, это что такое? Опять синюю рубашку надел? Влюбился в нее, что ли? Целую неделю одну рубашку таскает, видел бы это твой покойный отец! Тридцать пять лет, а до сих пор – ни кандидат наук, ни внуков мне на старость лет не обеспечил, и всё в одной и той же рубашке!» – «Мама. – Олим-ака складывает ладони и поднимает брови. – Я вас прошу... Нас сейчас весь подъезд слушает...»

«А, Олим-ака! – Сверху спускается Сухроб-ака. – Доб-

рый день, добрый день! Бриллиант-опа², как здоровье, как успехи?» – «Какие успехи... – отмахивается Бриллиант Садыковна. – Давление, радикулит, сын никак не защитится, а тут еще лифт не работает». – «Да, – кивает Сухроб-ака, – лифт – это проблема. Помните, как Марлен-ака застрял?» – «Какой Марлен-ака? Из двадцать седьмой, что ли?» – «Как раз под Новый год. Лифтеров нет, гуляют, так весь праздник, бедный, и просидел. Только первого января на свободу вышел». – «А-а, ничего, ему полезно было, – говорит Бриллиант Садыковна. – Хоть один праздник пьяным не напился. Теперь, говорят, вообще пить бросил... (Олиму, вполголоса: “Вернись, говорю, домой, перемени рубашку”). А помните, как Кадыржон с Машхурой, Малики-опы внучкой, в лифте вдвоем застряли? Два часа там провели, пришлось потом их поженить, чтобы в махалле разговоров не было...» – «Они, кажется, и до этого встречались». – «Встречаться – одно, а тут два часа в совершенно изолированном помещении. А вы знаете, какая сейчас молодежь! То-о-олько отвернешься – уже черт знает чем занимаются!.. Эх, ладно, пойду лифтеру звонить...»

Сухроб-ака спускается, унося облако дезодоранта. «Заходите в гости! – кричит ему вслед Бриллиант Садыковна и тут же поворачивается к сыну: – Видел, как у него рубашка заправлена? Кто так заправляет рубашку, тот в жизни всего добьется. Вот, человек в милиции работает, машину купил,

² Опа – старшая сестра; уважительное обращение к женщине.

жену взял с двумя иностранными языками. А ты что? Десять лет одну кандидатскую пишешь-пишешь, да еще эту рубашку надел, в могилу меня свести мечтаешь, наверное!»

Сухроб-ака останавливается пролетом ниже. «Мама, – звучит сверху хрипловатый тенор, – мама, я опаздываю на работу!» – «Лучше опоздать, чем появляться в таком позорном одеянии!»

Сухроб-ака спускается. На следующей лестничной площадке перед лифтом стоит нечеткая личность в шлепанцах и майке с надписью «Memento mori. Одежда для Вас и Вашей семьи».

«Не работает», – говорит Сухроб-ака, проходя мимо.

«Что? А... Спасибо».

Сухроб-ака спускается еще ниже, мужчина в майке остается.

Мужчина в майке проводит пальцем по дверце лифта:

– Так горячим майским утром началась эта история. Подъезд просыпался, потягивался, чистил зубы, хлопал дверцами холодильников, брился, ругался, собирал детей в школу и сам собирался на работу и просто по делам. Ничего, как говорят в таких случаях, не предвещало испытаний, которые вскоре придется пережить нашему подъезду. Хотя нет, кое-что предвещало – лифт уже не работал...

Нажимает рубиновую кнопку.

Тишина.

– Вот, сами видите. Да, всё началось с этой очередной поломки. Бриллиант Садыковна вызвала лифтера... Слышите?

Сверху доносится приятный женский бас: «Алло! Алло! Вы там все что – уснули, что ли, а? Как это – “кто говорит”? Я говорю!»

– Пришел лифтер... Потом, когда уже всё случилось, одни утверждали, что лифтер еле держался на ногах. Другие возражали, что он был трезв, а качался оттого, что вдруг подул сильный ветер, небо потемнело и загредел гром. Третьи рассказывали, что никакого грома не было, да и лифтера не было, а вместо него пришел какой-то человек в кепке, надвинутой на глаза, постоял у лифта, пошевелил усами. И ушел, напевая с кавказским акцентом начало известной темы Людвига ван Бетховена «Так судьба стучится в дверь».

Та-та-там... Та-та-та-ам!..

– И лифт заработал. И остаток дня жители и гости нашего подъезда ездили, радуясь, вверх-вниз... А может, и не радуясь – честно сказать, радоваться внутри лифта особенно нечему. Лампочка слабая, вот-вот погаснет. Кабинка качается, будто вот-вот упадет. Запах... своеобразный. Как тридцать лет назад нашу девятиэтажку сдали, так та же самая кабинка вверх-вниз и бегаёт. Правда, надписи внутри интересные – по ним всю историю нашего подъезда изучать можно. Например, «Рустам + Нигора = Л»: как в воду тот, кто писал, глядел, такая «Л» у них была, Ромео с Джульеттой от зависти бы умерли. Хотели пожениться, как только Рустам из армии

вернется. А его в Афган отправили, ну и... не вернулся. Вот так. Уравнение в кабинке после этого, конечно, исправить бы надо было. «Нигора – Рустам = Л». Потому что Рустама у Нигоры отняли, а «Л» осталась. Сколько мы ее успокаивали, сколько объясняли, что жизнь продолжается, она еще молодая...

Отворачивается, скребет ногтем дверцу, пытаюсь что-то счистить.

– Или другая историческая надпись. «Даша дура!» На видном месте. Вот эту надпись точно надо было исправить. В детстве она, конечно, не вундеркинд была. Мама ее, тетя Вера из шестнадцатой, еще кричала: «Дашка-а! Опять в дневнике “Лебединое озеро” принесла?!» Зато потом, когда Даша выросла – поехало: одна олимпийская победа, вторая. По телевизору показывают... Недавно в гости сюда приходила, она теперь в другом районе живет, мы с ней как раз вместе в лифте оказались. Я и Даша. Или, как ее теперь официально – Дарья... И вот, значит, едем, разговариваем, о погоде, о детях. И тут она, как назло, эту надпись видит. Неудобно как – уважаемая женщина, спортсмен, фотографии везде, а тут про нее крупными буквами такие вещи. Я думал – всё, обидится... А она, наоборот, так обрадовалась. Как будто, говорит, в детство вернулась! Сфотографировала эту надпись на свой мобильный, я еще дверь лифта держал, пока фотографировала...

Снова нажимает на кнопку. Красноватый свет от кнопки

просвечивает через палец.

– Но я так, лирическое отступление... Короче, снова заработал лифт. Потом уже говорили, что стал он как будто немножко по-другому ездить. Маршрут, конечно, тот же. Но вот как будто немного быстрее. А Шпион-Иваныч, Рыхсыбой-ака то есть, говорил, что во время движения как будто шепот стал чей-то слышен. А Шпион-Иваныч у нас всё слышит и всё про всех знает. Всю жизнь в отделах кадров проработал, давно уже на заслуженном отдыхе, но в виде хобби на каждого из соседей ведет личное дело... Со Шпион-Иваныча всё на следующее утро и началось.

Утро в девятиэтажке.

На первом этаже пахнет жареным луком, открывается дверь, дети уходят в школу, прощаются, топают вниз, дверь закрывается, запах лука остается.

На пятом этаже выходит Сухроб-ака, рубашка, галстук, дезодорант. «Та-а-ак!» Муха, ползущая по дверце лифта, почтительно замирает.

«Кисочки! Кисочки! Мои кисочки!» Две кошки, Мария и Антуанетта, залетают в приоткрытую дверь.

Машхура-хон уже домыла до первого этажа, отжимает тряпку. Звук открывающегося лифта.

Выходит Шпион-Иваныч: «А-а, убираемся? Субботник делаем? Молодец, заразительный пример подаешь. А тряпка почему такая дырявая, а? Да, вот эта самая! Следующий

раз хорошую тряпку возьми, а не бракованную. Понятно? Эх, всему вас учить надо!» Выходит из подъезда. Машхура смотрит вслед, вздыхает, отжимает тряпку.

Звук открывающегося лифта.

Машхура яростно трет плитку.

Из лифта выходит Шпион-Иваныч. «А-а, убираемся? Субботник делаем? Так держать! А море зачем такое разлила, а? На лодке прямо переплывать надо! Эх, всему вас учить надо! Из какой квартиры?.. Ладно, мне сейчас некогда». Выходит из подъезда.

Машхура медленно садится на мокрую ступеньку.

Машинально отжимает тряпку и прикладывает ко лбу.

На шум сбежался почти весь наш подъезд и даже из соседних.

В середине толпы стоят два Шпион-Иваныча и размахивают паспортами. Каждый обвиняет другого в том, что тот, другой, – двойник, заброшенный вражескими спецслужбами для того, чтобы похитить у него, настоящего Шпион-Иваныча, то есть Рыхсыбоя-ака, секретные бумаги, секретные книги и секретные газеты.

– Та-ак, – говорит Сухроб-ака, сверяя оба паспорта. – Шпи... Рыхсыбой-ака!

Оба Шпион-Иваныча поворачиваются.

– Вы, когда новый паспорт получали, прежний государству отдали?

– Отдал!.. Отдал!.. – синхронно кивают Шпион-Иванычи.

– А может, потеряли его когда? – Сухроб-ака старается говорить спокойно.

– Как можно! Я его постоянно ношу у сердца! – отвечают двойники, нежно поглаживая левый бок.

– Непорядок получается, – качает головой Сухроб-ака. – Один паспорт на имя гражданина Рыхсыбоя Кулокова, 1937 года рождения, выдан в 1997 году. А вот этот, на имя того же самого гражданина, – всего три года назад... Чей из них чей?

– Вот мой.

– Вот мой.

Тут все наконец замечают, что тот, который указал на паспорт, выданный в девяносто седьмом, выглядит как-то моложе. Конечно, Шпион-Иваныч лет уже двадцать как не менялся: всё такой же маленький, лысенький и энергичный. Но, видимо, процессы старения незаметно шли даже в нашем законсервированном Шпион-Иваныче.

– А брата-близнеца типа «Хасан-Хусан» у вас, случайно, не имелось? – спрашивает Сухроб-ака того Шпион-Иваныча, который постарше. – Или младшего?

– У меня наличия брата вообще не имелось! Сплошные сестры.

Народ задумчиво молчит. Слышно, как у Олим-ака, не успевшего позавтракать, бурчит в животе.

– А какой сейчас год, амака?³ – неожиданно спрашивает Олим-ака.

³ Амака́ – дядя (по отцу); уважительное обращение к пожилому мужчине.

– Как какой? Девяносто седьмой, – отвечает Шпион-Иваныч, который помоложе. – Одна тысяча девятьсот девяносто седьмой. А ты сам кто такой? Что-то тебя не помню.

– Я Олим, Бриллиант-опы сын...

– Э, шутишь? Что я, Олима-студента не знаю, что ли! Худенький, как веточка. А у тебя вон живот и седина уже.

– Я не хочу вас обидеть, амака, – Олим-ака слегка подбирает живот, – но сейчас две тысячи одиннадцатый...

– Какой-какой?

– Кажется, – обращается ко всем Олим-ака, – в нашем подъезде завелась машина времени.

– Вой, товба!.. – всплескивает руками Бриллиант Садыковна. – Только машины времени на нашу голову не хватало!

Слышно, как в подъезде раскрываются дверцы лифта.

Из подъезда выходит незнакомая девочка лет пяти.

Удивленно смотрит на собрание. Здоровается, тихо, с неуверенным поклоном.

– Ну вот! – показывает на нее Шпион-Иваныч-младший. – А вы говорите – две тысячи одиннадцатый... Это же Машхурочка, Малики-опы внучка!

К девочке медленно подходит наша Машхура-хон. Ставит ведро на асфальт и внимательно смотрит на нее.

– Да, – кивает головой, – это я... это я... это я...

Так в то утро в нашем подъезде стало два Шпион-Иваныча и две Машхуры-хон. Честно сказать, насчет Шпион-Иваныча никто особенно не радовался, нам и одного вполне хватало.

С маленькой Машхурой тоже было непросто: всё время плакала и звала маму, а как ей объяснишь, что мама ее уже два года – вот как выдала ее замуж, так вскоре благополучно в другой мир переселилась, пусть земля ей будет пухом, хорошая была женщина... Попробовали расспросить Машхуру, как она в наше время попала. Оказалось, ездила на седьмой этаж касу с пловом отвозить, мама послала, потом обратно села в лифт и в 2011 год приехала. «Мама меня там сейчас ждет!» – «Не плачь, – говорим, – наверное, ты все-таки тогда к маме вернулась, раз потом выросла, школу окончила и замуж вышла и в соседней комнате сейчас лежишь, в себя прийти никак не можешь». Там, в спальне, действительно Машхура-хон, взрослая, плакала, тоже понять состояние можно. Вышла утром подъезд помыть, и вот помыла, называется.

Только поговорили, успокоились – ассалому алейкум! – открывается лифт и...

Вечер. Пахнет политым асфальтом. Возле подъезда Сухроб-ака и Кадыр, муж Машхуры, стучат нардами.

– Что-то надо делать, ака, – бросает кубики Кадыр. – Пять – шесть... Сегодня еще три человека на лифте приехали. К Фарруху из пятнадцатой, к тетя Зое, которая с кошками...

– Да, слышал. Три – два... Зоя-опа вообще ее конкретно пускать не хотела. Я ей говорю: «Посмотрите, это же вы, вы, только двадцать лет назад». А она: «Оставьте меня в покое, я

одиноким пожилой человек!» Я говорю: «Ну вот и не будете одинокой... Будете теперь в лице себя за собой ухаживать!»

– А она?

– Которая?

– Ну, настоящая Зоя-опа...

– Обе настоящие, я документы проверил. Так ее и не пустила. Пусть, говорит, уезжает, откуда приехала... Три – три!

– Да, теперь та, молодая тетя Зоя, там на ступеньках сидит и ждет. Машхура ей лепешку отнесла...

– Какая из двух?

– Маленькая Машхура... Шесть – один. А может, правильно сделала Зоя-опа, что не пустила. Шпион-Иваныч пустил – вчера уже «Скорая» приезжала, сердце.

– Подожди...

– Что?

– Слышишь? Лифт остановился.

Из подъезда выходит Марлен-ака с четвертого этажа.

Игроки вздыхают с облегчением.

Здоровается, садится рядом. Закуривает, роняет сигарету, ищет ее под скамейкой.

– А мы думали, это еще кто-то оттуда приехал, – говорит Олим-ака.

– Ну вот, в лужу упала! Не могу больше! – вылезает из-под скамейки Марлен-ака. – Послушайте только! Мало ему, что я ему выделил свой диван, отдал свой мобильный, сам, как ишак, старым пользуюсь...

– Вы это о своем госте? Три – пять...

– Так он еще на старуху мою начал заглядываться!

– Это психология, – замечает Сухроб-ака. – Вы же на нее тоже когда-то, наверное, заглядывались. А он – это вы.

– Я ему говорю: посмотри, сколько вокруг молодых есть! Некоторые – даже с квартирами... Моя Фарида тебе в матери годится! Еще водку откуда-то притащил...

– Это всё, всё – психология. Вы же сами, пока не завязали... А он – это вы.

– Сидит, понимаете, на моем диване и любезничает с моей законной супругой. А та уши развесила, супом его кормит. Я понимаю, что он – это я... Но я же его старше!

– Пять – пять...

– Сухроб-ака, – Кадыр берет кубики и нервно вертит в пальцах. – Вы же в паспортном столе работаете, сейчас начнется: прописка-мрописка, с этими людьми из лифта же надо что-то делать...

– Да, надо что-то делать! – присоединяется Марлен-ака.

– Ладно, – Сухроб-ака поправляет спортивные штаны и собирается уходить. – Что-то сегодня играть не хочется. И голова, как казан, гудит... Дома привет передавай.

– Сухроб-ака, завтра и к вам на лифте приехать могут! Уже к половине подъезда приехали. Думаете, раз вы в нашем подъезде недавно, не приедут? И к вам приедут.

– Когда приедут, тогда поговорим, – не оборачиваясь, отвечает Сухроб-ака.

Останавливается, замирает.

Скрежет открывающегося лифта.

Из лифта выходит человек в шлепанцах, майка, надпись «Memento mori. Одежда для Вас и Вашей семьи».

– Красивая майка, правда? Брат подарил, его магазин. Могу дать телефон, если что.

Мимо, торопливо оглядываясь, проходит Сухроб-ака:

– Оперативная обстановка без изменений? Еще гости не приезжали?

– Пока тихо.

Сухроб-ака поднимается наверх, шаги стихают.

– На чем я остановился? Да, вот так к нам за какие-то три-четыре дня столько народу приехало. Кто-то из девяностых, но в основном из начала восьмидесятых. С ними пришлось, конечно, политинформацию провести. В ближайший супермаркет сводить. Что в очередь около каждого продукта вставлять не надо, объяснить. Вначале, когда гостей было еще мало и некоторые даже им радовались, Сухроб-ака предложил им экскурсию по городу организовать, чтобы они посмотрели новостройки, как у нас тут всё поменялось. А потом они как из лифта полезли...

Спускается, выходит из подъезда, здоровается с Кадыром, идет дальше.

– Один раз лифт останавливается, а из него – восемь гостей! «Надо же, – кто-то смеется (конечно, тот, к кому еще не

приезжали), – лифт – резиновый, что ли?» – «Лифт, может, и резиновый, – кричит Бриллиант Садыковна, – а квартира у меня не резиновая! Мне одного сына-балбеса хватало, а теперь их у меня – четверо». Ничего, говорим, Бриллиант-опа, скоро, может, многодетной матерью станете. А она: «Я вам сейчас такую... многодетную мать покажу!» И давай на нас, что она одна и в хокимият звонит по поводу этого безобразия, и подписи собирает, а мы только «ла-ла»...

Идет молча. Пробегают дети.

Женский голос: «Ра-а-но! Рано-о-у! Твой Сарвар из лифта опять моих детей в пионеры принимает! Спустись, скажи, чтобы глупостями не занимался!»

– Мы, конечно, тоже обращались. Первым делом лифтера вызвали, чтобы всё устранил. Без толку! Один лифтер пришел посмотрел, другой... «Что вас не устраивает? Лифт работает! Можем только отключить». Мы даже собрание подъезда провели по этому вопросу – тайное, чтобы гости не узнали. Одни говорят – отключить, и точка! Другие: «Подождите, может, эти люди как на лифте приехали, так на нем обратно в прошлое и укатят; не надо им путь к отступлению отрезать!» Да, у многих такая гипотеза была, даже эксперимент устроили: посадили маленькую Машхуру на первом этаже в лифт, нажали на седьмой этаж, дверцы закрылись... На седьмом этаже другая часть наблюдателей расположилась. Ждем, что будет. Доедет – не доедет? Доехала... После этого уже большинство было за то, чтобы лифт отклю-

читать. Даже те, которые на верхних этажах, тоже согласились, так их эти двойники достали. Но пока лифтера дождались, еще человек шесть приехало, кто из восьмидесят третьего, один даже из семьдесят восьмого, хотя наша девятиэтажка тогда только строилась. Ладно, пришел наконец лифтер, поковырялся; сказал – отключил. А на следующее утро...

Раннее утро, комната. Стрекот сверчка. Под пологом из марли лежат Кадыр и Машхура. Кадыр мрачно разглядывает марлю.

– Я так не могу больше. Давай уедем. Поедем в горы, как люди. Пусть эти себе живут как хотят.

– А родителей – тоже в горы возьмем?

– И родителей. Они тоже еле держатся. Слышала, как мать вчера ночью плакала?

– А этих – здесь оставить?

– Да, пусть тут сидят.

– А если они потом нас обратно не пустят?

– Как не пустят?

– Ну вот когда вернемся, и не пустят. Места мало, им тоже тесно. Потом ходи доказывай.

Кадыр уткнулся небритым подбородком в подушку:

– Сколько раз я думал о детстве... Так хотел туда вернуться! А теперь оно само ко мне... Поедьте все-таки в горы, а? Чимган, Бельдерсай, воздух, тишина...

– А вы знаете, во сколько проживание обойдется?

– Мы в детстве всей семьей туда ездили, и ничего.

– Так это когда было! А наших гостей кормить, одевать на какие деньги, вы об этом подумали? Рано-опе с первого этажа повезло, к ней уже взрослая Рано-опа приехала, она ее сразу в кафе пристроила...

– Что всё «деньги, деньги»... Засыпаю: «деньги». Просыпаюсь: «деньги». Давай сами просто уедем. – Придвигается к Машхуре. – В горы, куда хочешь... Только чтобы без этих, вдвоем.

– Ну что вы делаете... Жарко... И эти сейчас услышат, уже проснулись.

– Нет, спят еще. Всю ночь музыку слушали.

– Ну не надо. Говорю вам, не спят.

– Всё этот проклятый лифт... – Резко садится. – Слышите?

– Ну что?

– Опять зашумел!

– Вам показалось. Его вчера лифтер приходил, отключил...

– Значит, снова включили! – Соскакивает, на ходу впрыгивает в одну штанину. – Или сам, собака, заработал! Слышите? Опять – к нам!

– Почему вы так думаете? Может, не к нам...

Кадыр выскакивает в коридор.

Из соседней комнаты на него смотрят три Кадыра. Двое, подростки, играют на курпаче в карты. Один сидит на горш-

ке. Маленькая Машхура просыпается и зевает.

Повозившись с замком, Кадыр выбегает в подъезд.

– Кадыр-ака! – слышен из квартиры голос Машхуры.

Звук остановившегося лифта.

Кадыр бросается к дверцам и сжимает их, не давая открыться. Дверцы дергаются. Сжимает сильнее; прижимается лицом к дверцам:

– Всё! Не выйдете!

Из кабинки голоса: «Откройте! Откройте, что за хулиганство!»

– Кадыр! – выбегает в подъезд Машхура, застегивая халат.

«Откройте, здесь люди, здесь дети, вам говорят!» – колотят изнутри.

– Не выйдете... Их нельзя выпускать!..

Машхура, два Кадыра и маленькая Машхура пытаются оттащить его.

Крики.

«Жизнь невозможно повернуть наза-а-ад... И время ни на миг не остано-овишь!»

Вечер. На площадке в пыли играют дети. Со второго этажа поливают из шланга.

«Пусть необъятна ночь, и одинок мой дом...»

Человек в футболке стоит возле подъезда.

Что-то говорит, но его не слышно – с лоджии первого этажа гремит музыка.

«Еще идут старинные часы!»

– Ра-ано! – кричит человек в футболке. – Рано-хон! Музыка тише сделайте!

Выглядывает Рано в питательной маске:

– А, здравствуйте, сосед, как здоровье? Что ваш брат, как у него дела, когда опять скидки делать будет?

– Ну, пока сезонной распродажи нет... Рано-хон, музыку, пожалуйста, тише сделайте. Людям ничего не слышно, что я рассказываю.

– А, хорошо... Не любите музыку, да?

– Люблю, только другую.

– А у меня другая тоже есть. Могу поставить.

– Я вам человеческим языком говорю – я тут рассказываю, а вы со своей музыкой! Не нравится, сами выходите рассказывайте.

– Э, куда я сейчас выйду? Только маску Мертвого моря наложила!

Прячется. Музыка становится тише.

– Ладно, быстро расскажу, пока еще где-нибудь не включили. У нас люди не умеют просто тишиной наслаждаться... В общем, в то утро лифт снова заработал, снова гости прибыли, а Кадыржона положили в больницу... Нет, спасибо, ничего серьезного – просто нервы. Снова собрание, участковый пришел, председатель махаллинского комитета речь произнес. Главное – нам наконец поверили. А то сколько писем и заявлений писали – в одних местах их вообще отказы-

вались принимать, в других: «Ждите пятнадцать дней». Да через пятнадцать дней мы вообще в подъезде друг на дружке сидеть будем! А в одном месте прямо в лицо сказали: «Нам, конечно, иногда отдельные ненормальные пишут, но чтобы психи коллективное письмо написали, это первый раз». Короче, на том собрании нас наконец услышали, пообещали, что комиссию пришлют. Но комиссия всё не приезжала, а гости, наоборот, всё приезжали. Два-три человека в день – как по плану. Дошло до того, что один жилец, не буду называть имени, родного отца на порог не пустил. «Всё, – кричит, – у меня уже четыре родных отца разного возраста в квартире сидят, хватит, комплект!» Соседи ему: ну возьмите пятого родного отца, у нас тоже дома у каждого по несколько дубликатов, каждое утро в туалет очередь, ничего, терпим...

Из подъезда выходит Шпион-Иваныч. Он постарел, стал ходить с палочкой и разговаривать сам с собой.

– Это форменное безобразие. – Останавливается у подъезда. – Каждый день – новые люди. Кто их проверял? Кто просматривал их личные дела? Кругом халатность. Надо было посадить на каждом этаже возле лифта человека. Чтобы проводил собеседование, как положено, с каждым – индивидуально. Досматривал вещи. Спрашивал, имеются ли родственники... в прошлом.

Уходит, разговаривая и постукивая в такт палочкой.

– Так что дальше было, расскажите! Про экскурсию! – выглядывает Рано.

– Вы что, подслушивали, что ли?

– А что еще делать? Музыку не даете слушать...

– Хоп⁴. В общем, чтобы гости поняли наконец, в каком времени они находятся, и не задавали разных вопросов... Решили все-таки устроить для них экскурсию по городу. Центр города посмотрят, увидят, сколько всего нового построено. Что улицы сейчас совсем не такие, и дома другие, и машин сколько. Короче, жарким майским утром...

Площадка перед подъездом. Под орешинной стоит экскурсионный автобус.

Четверо Кадыров по очереди заходят, поднимают младшего. «А мороженое там будет?» – спрашивает уже в салоне маленький Кадыр, пробегая мимо сидений.

Машхура-хон поправляет платье на маленькой Машхуре: «Слушайся Кадыр-ака!» – «Какого из них?» – «Любого... Какой-нибудь из них в будущем женится на тебе». – «Я хочу выйти за прекрасного принца!» – «Я тоже в твоём возрасте хотела, а вышла за Кадыр-ака. Он пообещал, выйдет из больницы, все поедem в горы». – «Я хочу сейчас в горы!» – «Сейчас – на экскурсию...»

Шпион-Иваныч-1 дает последние инструкции Шпион-Иванычу-2: «Бдительность и только бдительность! Автобус не настоящий; водитель, сразу видно, никогда за руль не садился; экскурсовод – переодетая женщина». – «Это я и сам

⁴ Хорошо, ладно.

заметил. Но вы еще не обратили внимания, что все, кто садится в автобус, находятся в заговоре!» – «Ты еще будешь меня учить! То, что они все в заговоре, это настолько понятно, что я даже не считаю нужным о таких пустяках говорить!»

Две Бриллиант Садыковны периодически отсылают одного из четырех Олимов домой, чтобы переоделся. Наконец одна Садыковна залезает в автобус; женщины еще долго переговариваются через стекло.

Но вот все гости расселись; Сухроб-ака желает всем интересной экскурсии и вылезает. Автобус отъезжает; сквозь затененные стекла виден экскурсовод с микрофоном, внимательные лица сидящих. «Вы увидите, как изменился наш город в последнее время...» Оставшиеся машут, расходятся. «Хоть полдня от этого алкаша отдохну!» Марлен-ака пытается закурить и роняет сигарету. Автобус выезжает на улицу и исчезает из виду.

Утро в девятиэтажке.

На первом этаже пахнет жареным луком, открывается дверь, дети уходят в школу, топают вниз, дверь закрывается, запах лука остается. На пятом этаже выходит Сухроб-ака, рубашка, галстук, дезодорант. «Та-а-ак!» Муха замирает по дверце лифта. «А может, и не так», – поправляет себя Сухроб-ака и жмет на кнопку вызова.

«Кисочки! Кисочки! Мои кисочки!» Мария и Антуанетта

залетают в приоткрытую дверь. В проем высовывается седая голова в очках: «Зоя... Зоя, ты здесь? Зоя, это я, Зоя. Заходи». Тишина. Голова исчезает обратно. Дверь закрывается. Замок, цепочка.

Машхура-хон на первом этаже отжимает тряпку. Звук открывающегося лифта. Опираясь на палочку, спускается Шпион-Иваныч: «А, убираемся? Субботник делаем? Молодец! Есть идея провести конкурс на звание лучшей невестки нашей девятиэтажки... – Недовольно глядит на налитые на ступени лужи, хочет что-то сказать. Но вместо этого спрашивает: – Не устаешь ты так, каждое утро?» Машхура поднимает голову: «Нет. Привыкла». – «А Кадыр как? На нервы не жалуется? Пусть таблетки пьет. Ну, приветы всем передавай». Спускается, выходит из подъезда. Машхура-хон удивленно смотрит вслед, вздыхает, отжимает тряпку.

Двумя этажами выше открывается дверь. Выходит человек в шлепанцах, на нем новая майка.

– Да, вот так оно и кончилось. Вначале связь с экскурсионным автобусом была нормальной. Те, кто старше, звонили, делились впечатлениями. Говорили, город так изменился, всё так изменилось, узнать нельзя. Что всё очень красиво, но непривычно. Последней позвонила, кажется, Бриллиант Садыковна-2 и сказала, чтобы не волновались, их отвезут после экскурсии обратно. Ну, «обратно» – значит к подъезду, что уж тут волноваться! А потом связь исчезла. «Абонент находится вне зоны доступа». Ждали автобус до вечера, так

и не вернулся. Сухроб-ака звонил в бюро, с которым договаривался, – там ответили, что такого автобуса у них вообще не было и такой заявки они не принимали. Короче, не вернулись. А может, вернулись – но не к нам, а...

Нажимает на кнопку лифта.

– Подъезд два дня не в себе был. Одни радовались, другие горевали, третьи то радовались, то горевали. Приехала наконец комиссия. Посмотрела на нас, головой покачала. Поговорила с людьми. К Кадыру в неврологическое отделение съездили. Выслушали Бриллиант Садыковну, которая всё плакала и просила отыскать ей трех исчезнувших Олимов, которые ее слушались и уважали, не то что этот оболтус, который кандидатскую всё не защищает... А потом, как в сказке, всем нам путевку на пять дней в горы выдали, в санаторий. Мы ушам своим не поверили, когда нам это на собрании подъезда объявили. Вот, завтра сядем всем подъездом на автобус и поедем!

С силой жмет на кнопку.

– Что такое? Опять не работает!

– Не работает, ака! – спускается Сухроб-ака. – Надо опять лифтера вызывать!

Сверху раздается голос Бриллиант Садыковны:

– Сколько можно! Всю кровь из меня уже этот лифт выпил... Олим, опять ты в этой рубашке? Я тебе какую приготовила, а ты что на себя нацепил?

– Взорвать этот лифт надо! Вы мою сигарету здесь на сту-

пеньках не видели?

– Кисочки мои, кисочки...

– Почему это «моему лифтеру»? Весь подъезд на лифте туда-сюда, туда-сюда, а как поломка – сразу: «Бриллиант Садыковна! Бриллиант Садыковна!»

– Э, зачем цирк в подъезде устраиваете? Завтра в санаторий едем, потом лифтом будем заниматься!

– Мария! Антуанетта! Домой!

– Я вам сейчас «взорву»! Вы лифт не строили, не вам...

– А у вас, как ни пройдешь, луком несет...

– Была бы я сейчас на двадцать лет моложе, я бы вам сейчас такое...

Постепенно всё стихает. Слышен стрекот сверчка, треск сорок, звуки проезжающих вдалеке машин, хлопанье дверей. Белые бетонные плиты, лоджии. Распахнутые, пока еще не так жарко, окна. Утро в девятиэтажке. Обычное утро в обычной девятиэтажке.

Совращенцы

Льет грязный дождь.

Туземный город разбухает, Скопцову то и дело приходится форсировать лужи и арыки. Сапоги квакают, как лягушки; насморка не миновать. Рядом, весь мокрый, бежит Груша, показывает дорогу. И охота сартам в такой дождь скандалить! Лицо у пристава рябое, глаза неопределенные. Походка тяжелая, как и положено по должности. По случаю праздника выбрит до самоварного блеска, только к чему этот блеск под такими струями?

Им открыли. Собачьим инстинктом Скопцов двинулся через дворик куда нужно. К их приходу скандал успел остыть, крик был, но уже вялый и неопасный. До убийства не дойдет, стало обидно за вымокшую одежду.

Тут выглянуло женское лицо. Голое, без обычной на себе тряпки. Бледное, не местное. Под левым глазом – известное украшение.

А потом еще одно лицо, женское, и тоже не туземное. Скопцов откашлялся.

1913 года апреля 27-го дня город Ташкент. Я, пристав 3 уч. г. Ташкента Скопцов, опрашивал сожительствующую в настоящее время с ташкентским сартом Сибзарской части Мир-Азимом Мир Татжибаевым крестьянку Саратовской

губернии Аткарского уезда Александру Никифоровну Свободину, 16 лет от роду, которая объяснила, что девять месяцев тому назад при работах на виноградных садах в районе Ташкентского уезда она впервые познакомилась с Мир Татжисбаевым. Приблизительно через месяц после знакомства она окончательно сошлась с ним и вскоре потом по уговору Татжисбаева уехала с ним в г. Оренбург.

В Оренбурге они прожили полтора месяца, и там какой-то мулла по магометанскому обряду их перевенчал. С того времени она, Свободина, живет с Татжисбаевым как его жена, исповедывает магометанскую веру и придерживается всех мусульманских обычаев.

Причиной перехода в магометанство ей послужил родной отец, который лет шесть тому назад отпал от православия и объявил себя магометанином. Теперь отец Никифор Абрамович живет неизвестно где. Мир-Азим Татжисбаев, которого она считает мужем, не склонял ее принудительным образом отпасть от православия. Вышла она за него в замужество по магометанскому обряду только потому, что убедилась, что человек он хороший и с ним она может безбедно просуществовать всю жизнь.

Вот тебе и яичко к Пасхе! Шел на сартовское безобразие, напал на саратовскую бабу. Сидит побитая, синяк ладонью маскирует, да еще жеманничает сквозь сопли. В соседней комнате хнычет ее сестра.

И такие бабы не первый случай. Насыпало сюда переселенцев, думали, в Туркестане горы золотые, потом мык-мык без земли, у самих – дети. Кого из детей не могли насытить, стали тайком рассовывать по богатым туземцам, стыд и только.

– Подпиши!

– Чего?

– Слова свои подпиши.

Они в участке, в окне греет солнце, подсушивая натворенные дождем дела.

В носу пристава чесалось, словно туда забралась муха; чихнул, вытер простудную слезу. «Всё от сырых ног. – Поглядел на бабу. – Дура!»

– Крестик рисуешь? – спросил он, заметив манер, которым подписалась.

– Крестик, – ответила баба и на всякий случай снова зарыдала.

– Что ж тебе в православии скучно было? Что ж ты от крестика-то... Что вздыхаешь?

– Да о сестре подумала...

«Сестру надо тоже в протокол, – решил Скопцов. – Но сначала – этого...»

Этот, сожитель ее, сидел на лавке и будто дремал.

Обычный сарт, борода торчком. «Накормил ее, пригрел, она и влюбилась. А может, и любопытство детское толкнуло: «Интересно с черненьким!» Мозги-то еще несовершеннолет-

ние...»

Поманил его:

– Менгя келинь!

Тот очнулся и заиграл желваками.

Спрошенный Мир-Азим Мир Татжибаев, проживающий в махалле Парчибак в собственном доме, объяснил, что с Александрой Свободиной он познакомился впервые в виноградных садах Ташкентского уезда, арендуемых Аванесовым. Склонила к знакомству сначала сама Александра, она стала усиленно за ним ухаживать и предлагала вступить с ней в любовную связь. Первое время он опасался каких-то неприятностей, но впоследствии решился. Но когда Свободина стала его уговаривать вступить с ней в магометанский брак, он этого обстоятельства напугался и уехал от нее в г. Оренбург. Но внезапно, недели через две, прибыла туда Свободина. Никакой мулла их не венчал в Оренбурге, а какой-то грамотный татарин или сарт прочитал им молитву магометанского бракосочетания, и с того времени они и живут как муж и жена. Свободина исповедывает теперь магометанскую веру и окончательно отпала от православия. Всё это было сделано по добровольному желанию Свободиной, и он, спрашиваемый, ни к каким ухищрениям лести жениться на ней не прибегал. Имя и фамилию того человека, который читал молитву магометанского бракосочетания, он не знает и не может указать, где он живет.

Подпись сартовская.

«Соловей!» – злился Скопцов, занося всю эту ерунду в протокол. В лицо Мир Татжибаева он уже не смотрел, устав от его наглого выражения. Наглого и опасливого, с подмаргиванием. Хотел даже приказать, чтоб не моргал. «Соловей какой! Сама, мол, на шею ему кидалась. А она сидит ему в синяках и подпевает».

Скопцов вздохнул; от своей половины такой преданности он не наблюдал. «Потому что жестче с бабами надо. Кулак показывать иногда, чтобы не забывали, как он выглядит». И поглядел на свой солидный кулак; сарт заморгал еще чаще.

– Ну вот что... – начал Скопцов. И перебил себя чихом. «Заболею, – подумал, отираясь. – А-а! Гори всё синим пламенем...»

Синее пламя разорвало небо.

Епархиальный противомусульманский миссионер-проповедник отец Елисей Ефремов раскрыл зонт.

По зонту зачастило, но не сильно. Дождь таял, почти не касаясь земли. Душно. Город растворялся за спиной. Впереди, в очищенном воздухе, желтела степь. Кое-где еще облака, но вид их был миролюбивый. Вдали красовались своими вершинами горы.

Отец Елисей ехал в Свято-Николаевский монастырь.

Лентой тянулись туркестанские тополя с серебристой с

испода листвою. Навстречу попадались сарты в пестрых халатах; охая на всю степь, тащились арбы. Иногда выглядели две-три сартовские мазанки, с неизбежной чайханой и треньканьем двуструнного саза.

В саквояже миссионера-проповедника трясся двойной бутерброд и обернутый «Туркестанскими ведомостями» Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», едкая книга.

В монастыре миссионера ждало дело сестер Свободиных. Дело было начато еще весной. Пока летали меж ведомствами бумаги, наступил июнь. Отец Елисей тоже всё был занят докладами. Ислам наступал, и забот у противомусульманского миссионера-проповедника хватало и без любвеобильных сестер.

Но тут дело просочилось в местные газеты. В монастырь, куда определили Свободиных, явились корреспонденты и фотограф с техникой. Игуменья Лидия встретила представителей прессы кротко, прогуляла их по монастырю, до Свободиных не допустила: «Поймите, господа, их состояние...» Господа несолоно хлебавши осмотрели еще монастырскую птицеферму, сделали пару снимков и вернулись в город даже несколько одухотворенными.

Но раз замаячила пресса, медлить нельзя, так и до Петербурга дойти может. Да еще Александра, старшая, вот-вот должна произвести маленького сартёнка. Пришлось отцу Елисею захлопнуть «Заратустру» на любопытном месте и потащиться в монастырь, обдумывая слова, с которыми над-

лежало обратиться к падшим. В голове, однако, творилась полная заратустра. «Приеду – обдумаю», – сказал себе отец Елисей и достал бутерброд.

Порыв ветра вывернул тополиную крону. Впереди, влево от дороги, глянул куполок монастырской церкви.

Рапорт его Высокопреподобию Благодинному церковей города Ташкента Алексею Иоанновичу Маркову.

Вследствие предписания Вашего от 6 июня 1913 года за № 275 о производстве увещания русским девицам Александре и Марии Свободиным, имею честь донести, что мною увещание было сделано совместно с игуменьей монастыря 12 июня 1913 года.

При увещании представилась такая грустная и страшная картина! Здесь видно только одно: грязь, грязь и грязь... Глава семьи, отец, Саратовской губернии крестьянин Никифор Абрамов Свободин, 50 лет, был православный, хорошо грамотный, служил на Средне-Азиатской железной дороге, здесь его уволили, потом объявил себя магометанином, всё время живет у сартов, стал лекарем (табиб) среди туземцев, ходит всё время по базарам в различных городах Туркестана, тут же на базаре лечит различными снадобьями, пьяница, расточитель, занимается продажей своих девочек и мальчиков еще несовершеннолетними сартам, имеет детей 9 человек, 5 девочек и 4 мальчика, девочки проданы сартам, а мальчик продан в Персию, живет тайно в Ташкенте

в старом городе, часто меняет местожительство, жену бросил, сожительствует с другими, от имени сожительницы Ирины Васильевны Константиновой, как заявили дети, посылает письма своим дочерям, находящимся в монастыре, подсылает ее в монастырь для того, чтобы вырвать из монастыря и передать сартам, Никифора Свободина лет пять тому назад разыскивало еще Туркестанское общество религиозно-нравственного просвещения.

Особый тип – его жена Елизавета Давыдовна Свободина, окончив торг своими детьми, ведя развратную жизнь, она отправилась в Скобелев и там живет на вокзале, она немка.

Отбеседовав, отец Елисей вышел во двор.

Природа радовалась и шелестела, а на душе было не так. На душе было пыльно и тяжело. Паутинно, будто в подвал голову сунул.

Зазвонили к вечерне.

Церковь изнутри была уютной, светлой. Очень женской какой-то. Он давно заметил, что церкви при женских монастырях отличаются неуловимо от церквей при мужских, и объяснял это по Вейнингеру. В остальном церковь обычная. Иконостас в два яруса, крашенный белой масляной краской; в алтаре три окна. Вспыхнул и истлел закат; «Великое славословие», очень женское, грудное.

После службы стоял на воздухе и наблюдал луну. Беспокойл оставленный в саквояже Ницше. В голову лезли всякие

мысли. Начитанные, надышанные от типографского свинца. Выпитые глазами из срамных фотокарточек, которые как-то выпали из подушки сокелейника его, еще в семинарии: задохнувшись, бросился их жечь – корчились в пламени тела, лица...

Ходил по воздуху, отгоняя от себя прошлое.

Сердце от вечерни размягчилось, ум был тверд и напряжен.

«Сердце – это вагина духа; ум – его фаллос, – лезли мысли. – Сердце всё чувствует, всё в себя принимает, в мякоти свои...»

Поглядел на окно Свободиных.

О чем сейчас думают, о чем рассуждают сереньким своим умом?

В окне пошевелилось.

Александра? Мария? С животом – значит, Александра. Которая на виноградниках... Песнь Песней. «Пойдем в виноградники...»

– Отец Елисей!

Это от игуменьи. К ужину просят.

Еще раз глянул на свободинское окно. Там внутри словно ощутили. Задержнулись противомушиной кисеей. «О сартах мечтают», – решил отец Елисей.

Вытаращил глаза и зашагал к ужину.

Луна вытягивала из отца Елисея тень и волочила ее за ним по траве.

Дети их находятся в монастыре. Дочь Александра родилась в Асхабаде 9 апреля 1896 года, беременная, сошлась с сартом в саду, приняла ислам, обвенчалась с сартом, ездила для этого в Оренбург, исполняет все мусульманские обряды, знает язык туземцев, оправдывает сожителя, что он ее не совращал, живет с ним как с хорошим мужем, безбедно, раньше она была голодна, раздета и холодна, любит она сожителя сарта, никогда от него не разлучается, разлучит их только смерть, если ей не придется сойтись с сожителем сартом, то она отравится или удавится, она продана отцом, ходит без креста, молитвы не совершает и от ограждения себя крестом отказывается. Просит, что, когда родится у нея ребенок, о крещении ея никому не говорить, чтобы об этом не узнал сожитель сарт.

Сестра ея Мария родилась в Чарджуе 19 марта 1898 года, продана сарту, несовершеннолетняя, давно заражена болезнью с изъязвлениями и ранами на теле, но и всё это не удерживает ее от пагубной жизни, в монастыре надела крест, ходит в церковь, молится по-православному.

Она послужила главной виновницей задержания ея с сестрой. Когда наступила Пасха, она заявила сожителю сарту, что она желает Пасху встретить по-русски с пасхальными крашеными яйцами, она подняла рев и скандал, требуя от сожителя пасхальных яиц, сарт удивился и стал ее бить, тут вмешалась полиция, ее с сестрой вырвали из рук сартов

и препроводили в монастырь, она о себе ничего не говорит, а горюю стоит за сестру и просит позволить сестре продолжать сожительство с сартом.

Комната настоятельницы чистенькая и приятная.

Луны здесь не чувствуется; освещение керосиновое, с едва слышным запахом. Скоро сюда ожидается электричество, хотя монастырю оно не в надобность, живут по солнцу. «Но гостям будет удобнее с электрическим светом», – говорит настоятельница. Отец Елисей, всё еще в своих сумеречных мыслях, слабо кивает.

Чай с монастырским печеньем и сотами. За столом еще пара насельниц и батюшка здешний. Батюшка молчит. Отец Елисей глядит на соты и размышляет.

– Электричество – грех! – говорит убежденно. – Это словно лунный свет в каждое жилище вползает и мертвым сиянием озаряет всё. Голую материю освещает, а дух гасит. Ночью дух сильнее, нельзя механическим светом его глушить.

Игуменья виновато улыбается, словно электричество – ее собственная выдумка:

– Сейчас столько говорят о технике... Не знаешь, кого слушать. Редко образованный человек к нам приезжает.

Отец Елисей понял, куда намек, и отер губы:

– Образование – еще не всё.

– Вы арабский язык знаете...

– Изучал.

– А китайский? – подала голос одна из застольниц.

– Не приходилось.

– Я слышала, китайский очень тяжелый. В нем такие звуки!

– Не тяжелее арабского, – отрезал отец Елисей.

Матушка Лидия, в очках, рассказывала об обители. Отец Елисей управился с сотами, взболтал пальцем бородку и слушал.

Насельницы занимаются разнообразными отраслями хозяйства. И хлебопашеством, и скотоводством. И садоводством, и пчеловодством. Есть и своя рукодельная, где выполняется много частных работ по вышивке золотой и серебряной нитью. Рукодельницы обшивают и сам монастырь; матушка показала салфеточку.

– Симпатичная! – одобрил отец Елисей.

Ему, наверное, ее подарят: интуиция шепнула.

По остывшему самовару ползет муха. Отец Елисей следит за ее движением. Уютный, круглый мир монастыря выталкивает его из себя, как чуждое тело.

– День строго распределен, – тихо барабанит настоятельница, чувствуется: не ему первому. – В полпятого утра уже все на ногах, на утреннюю трапезу у нас подают квас с огурцами или щи с капустой или постным маслом. В праздничные дни трапеза после обедни в 11 часов, кроме щей у нас каша с постным маслом, в обеде получается вместо двух – три блюда. А в двенадцатые бывает и четыре: прибавляется

картофельный суп или холодная рыба. Ужин обыкновенно по кельям; подают то, что осталось от дневной трапезы. Чай и сахар у сестер свой, одежда своя. Более состоятельные помогают в житейском обиходе остальным...

Сославшись на необходимость дописать доклад, отец Елисей поблагодарил за ужин и приподнялся. Его сопроводили в гостевую. Лампа заливала постель светом, в окне беспокоился сад.

Отец Елисей вытряс из саквояжа Ницше и перечитал, сопя, о трех превращениях духа. В этой главе его всегда занимало: чем – верблюдом или львом – является его, отца Елисея, дух. Подозревал, что – львом.

В чулках стало жарко, стянул их.

Голые ступни обрадовались воздуху, и на душе стало свежее. Матерьялен человек!

Ступни у противомусульманского миссионера были белые, слегка грязноватые. Сказывались условия: лето и пыль.

Отец Елисей зажмурил глаза и приоткрыл рот. Хотелось быть сверхчеловеком...

Грех, конечно. Но уж очень иногда фактурно представлял себя в этой роли. Только брюшко бы убрать. Небольшое, но обидное, располагающее к шуточкам.

Ласково хлопнув себя по этой части тела, поднялся к столу. Письменный прибор поблескивал, звал к работе. Луна ломилась в окно, перебивая свет лампы.

В членах было беспокойно.

Отец Елисей обмакнул перо и пошевелил губами.

Соблазнитель и совратитель бухарец Миразис Муртазабаев 33 лет живет в махалле Парчибак, его можно характеризовать словами Абу-Сафьяна, «этот верблюд так жаден до женщин, что его никакой намордник не удержит», он уже до этого совратил одну русскую девушку, имел от нее двоих детей, а теперь прогнал, имеет он дом, торговлю в Оренбурге, сад и арендует сады у других, хитро уговорил соблазненную Александру принять всю вину на себя, что Александра сама усиленно ухаживала за ним.

«33 года... Интересно, есть ли у него живот? – Отец Елисей отер пот. – У сартов часто встречаются животы. Они ими, кажется, гордятся и чуть ли не хвастают друг перед другом...»

Перечитал. Красиво.

Хотелось еще вернуть что-то про живот и заплывшие жиром глазки совратителя – прямо видел их! Ограничился цитатой с верблюдом.

Увещание. Увещание было сделано отпавшим в настоятельских комнатах, в присутствии игуменьи. При увещании открылась вся грустная сторона их жизни, они основывались на свободе, данной во всем, кто как хочет, так и живет, указывали на свою бедность и заброшенность, на при-

мер отпадения не только мирян, но и священника Громова, портрет которого был помещен в мусульманских газетах, указывали на многочисленность отпадений от Православия в ислам, по их сообщениям, до 500 русских девушек после манифеста отпали в Ислам, и в каждом дворе городов Туркестана найдется по 1–2 пары сожигательствующих с сартами. Туземцы не любят своих сартянок за их покрывало, поэтому предпочитают русских девушек. При увещевании обнаружилось полное незнание и непонимание ими догматов, заповедей и молитв, просили слезно сообщить им сведения о христианской вере. Охотно были им сообщены сведения о христианской вере в сравнении с магометанской, о грехах любоддеяния, прелюбоддеяния, в особенности о пагубной и незаконной связи с мусульманами. Слушали со вниманием, благодарили, плакали, тут же дали собственноручную подписку, что они, не переходя в Ислам, навсегда останутся в лоне Православия. Подписка сия приложена к делу.

Отец Елисей недовольно выпил воды и решил выйти.

Во дворе красовалась июньская ночь. Природа в восточной томности, бесконечные цветы, на ветвях плоды земные. Особенно плодородна вишня: отец Елисей сорвал и продегустировал. Кислятина. Потянулся еще за одной. Освежает.

Поглядел на луну и отметил в ней нечто мусульманское.

Баритонально зевнул.

Окна келий раскрыты, виднелись желтяки лампад.

Прислушался.

К плеску воды присоединялись сомнительные звуки.

Вроде притихло.

Только сердце буйствовало. И ладони стали как не свои.

Снова послышалось. Отец Елисей отер ладони и пошел на

звук.

Идти было светло, но наплыло облако, и предметы спрятались. Хорошо, что земля вся натоптана, и то пару раз осту-
пился. Пройдя скотный двор – по запаху угадал, – оказался
в не разработанной еще части монастыря.

Отсюда шепот и шел.

Было темно, но глаз уже свыкся. Пройдя вдоль стены, вы-
глянул.

На полянке шло ночное свидание.

Четыре фигуры образовывали кружок и шептались на сар-
товском наречии. Две женские, знакомые уже, и две мужские
в халатах.

Отец Елисей сглотнул сухую слюну.

В кружке тем временем замолкли, пошла возня и извест-
ные вздохи...

Потом разделились, две фигуры, мужская и женская с жи-
вотом, уселись на поваленное дерево и застыли, другие две
отошли во тьму.

Отец Елисей дышал и пытался сообразить план действий.
Одному выступить против двух разгоряченных азиатов рис-

кованно; в руках сидевшего подле Александры виднелась плеть, да и о привычке туземцев таскать с собой ножи он был наслышан. Бежать за подмогой? Какая от монахинь подмога!.. Да шум поднимется, дело получит огласку, полезут слухи, газеты, насмешки, дойдет до Петербурга: увещевал, мол, а увещевленные в ту же ночь миловались со своими ромео!.. Страшнее всего, что он сам не мог оторвать глаз от этих темных фигур, от электричества, которым они горели словно изнутри, и гладил ладонью глиняную фактуру стены.

Облако сползло с луны; лазурный свет ударил в глаза.

Отец Елисей зажмурился и, не умея сдержаться, чихнул.

Тотчас услышал женский вскрик и топот убежавших. Двое перемахнули через стену. Застучали и стихли в далях копыта.

Одни сестры стояли перед ним, как призраки, и будто не замечали его.

Александра сидела на бревне, обхватив живот. Мария, поднявшись из травы, поправила сбитую юбку и огладила волос. Рот ее был приоткрыт, два верхних зуба блестели в ночном свете; глаза скрывались в тени.

– Как же вы так... – попробовал голос отец Елисей. – Как же вы...

Мария, отряхиваясь от налипших колосьев, пропела:

– То-шненько!

Лицо к луне, так что ее дурная болезнь видна до последней язвинки.

Отец Елисей набрал воздуха и ничего не сказал.

Только теперь почувствовал в руке Ницше, с которым, видно, вышел.

– Вот... Слушайте! – распахнул, быстро найдя нужное. – Слушайте!

Вознес к луне палец:

– «Не лучше ли попасть в руки убийцы, чем в мечты похотливой женщины? И посмотрите на этих мужчин: они не знают ничего лучшего на земле, как лежать с женщиной! Грязь на дне их души; и горе, если у грязи есть еще дух!»

Голос ему вернулся и звучал, как труба.

Перелистнул, комкая страницы:

– Вот... «И повиноваться должна женщина, и найти глубину к своей поверхности. Поверхность – душа женщины, подвижная бурная пленка на мелкой воде! Но душа... Но душа мужчины глубока, ее бурный поток шумит в подземных пещерах! Женщина чувствует его силу... Но не понимает ее...»

– Тошненько!

От шепота ее пахло сартовским насваем, дымом и пылью.

Выпутав последний колосок, Мария поднесла его к щеке отца Елисея и пощекотала...

Он проснулся в одежде.

Вокруг была гостевая комната, в окне угадывалось утро. Лампа горела, но бледно и бессмысленно.

Подошел к столу, постоял.

Письменный прибор, бумага с отчетом. Ницше. «Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!» Это подчеркнуто.

Молитвенное правило читал дольше обычного.

Освежив лицо водою, вышел во двор. От лунных безобразий не осталось и следа; земля была полита и обласкана солнцем.

За трапезой спросили, хорошо ли он спал.

«Здесь воздух все хвалят», – заметила матушка Лидия в очках.

Он спросил о сестрах.

Оказалось, ночью у одной из них, Марии, произошел припадок.

После завтрака отец Елисей гулял. Глянул на сестрины окна. Тишина.

Прошел огороды, преодолел разросшуюся смородину, скотный двор.

Остановился.

Вчерашнее место было перед ним – солнечное и покойное. Летали насекомые. Прошел, отыскивая следы, подобрал пару сухих колосков. Присел на сваленное дерево.

Наклонился, поднял.

Плетка.

Повертел в руках. «Найти глубину в своей поверхности...»

Сочно гудят пчелы, в самое ухо.

Резко и неумело хлестнул по ветвям. Дерево вздрогнуло,

посыпался мусор.

Замахнулся еще раз, но не стал. Зашагал прочь, вскидывая руки.

Приношу благодарность настоятельнице монастыря игуменье Лидии, давшей приют этим несчастным. Она ласкала, советовала, приобретением одежды, обуви и белья много ободрила их. Но не можем умолчать и о том, как через этих пришлых епитимиец нарушается порядок дисциплины в монастыре, совершается поношение монастырю, неудобство родового процесса, циничные угрозы удавиться или отравиться!

Выдворять бы русских незаконножительствовавших девиц в Европейскую Россию, тем пресечь соблазн и лишить возможности сблизиться с соблазнительями сартами на выходе из монастыря или приюта. Сейчас девицы, находящиеся в монастыре, питают надежду, что по выходе оттуда они опять сойдутся с сартами, а совратители сарты каждый день верхом подъезжают к монастырю, чтобы улучшить с ними свидание.

Установить надзор за сартамисадами. Почти все случаи соблазна и совращения происходят в садах у сартов!..

Ходил по садам монастырским, в мыслях держа иные сады. Не держал – сами вонзались в мысли, царапали их ветвями, ласковой листвой. «Пойдем в виноградники, посмот-

рим, распустилась ли виноградная лоза, там окажу ласки мои тебе...»

Установить надзор за садами!

Отер лицо.

Корень всех несчастий – обрезание. Да, было оно когда-то знаком Завета евреев с Богом, чтоб народ Израилев не погиб и размножился, несмотря на тяжелые условия. Обрезание, оно аппетиты разжигает, «плодиться и размножаться». Оттого и позволено было – чтобы народу Божьему выжить. Новый же Завет, вместо «плодитесь», напротив: уклоняйтесь от соития. Теперь уже обрезание этому враг; и после Христа оно уже знак Завета не с Богом, а с...

Отец Елисей сплюнул; плевок повис на листе подорожника.

Особый тип – здешние туземцы. Кроме обрезания, еще и выбривают себе всё там вокруг. Отец Елисей эксперимента ради тоже раз себе выбрил. Потом целую неделю ощущал беспокойство. Больше экспериментировать не стал. Каково же туземцам, практикующим такое непрерывно, да еще держащим это за благородный обычай?!

Отсюда и сады.

Александра!

Та выглянула из окна, тихая, мягкая. Глазами лениво шарит: кто звал?.. А мыслями – внутри себя, в темноте влажной.

К полудню дух успокоился.

Его водили по монастырю, показывая достопримечательности. Побывал на скотном дворе, ознакомился с коровами; у тех были добрые рогатые физиономии; работали хвосты, отгоняя насекомых. Снова показывали ему вишню, смородину. Представили садовника, сарта Джуму, по словам монахинь, «просто волшебника». Отец Елисей любезно поздоровался с «волшебником» и задал какой-то ботанический вопрос. Потом посетили иконописную мастерскую; три послушницы писали иконы настолько живо и правильно, что получали заказы из соседних селений.

– Райское место у вас... – Отец Елисей отхлебывал квас, отгоняя вздутый изюм. И незаметно снимал башмаки, чтобы испытать еще большее блаженство.

Как спало пекло, отправился обратно.

Игуменья Лидия со «свитою» вышла проводить. При прощании кланялись друг другу долго, как китайцы. Светились два каменных корпуса; в некоем окне стояли две фигуры и глядели на его отъезд. Но на душе было покойно и сыто, только Ницше камнем тяжелил саквояж, но на его счет он уже решил.

Вынесли в дорогу корзину: мед, плоды и сметанка. Накрыто вчерашней салфеточкой. И мешочек, вытканый бисером: Солнце и Луна. Чья работа?

– Сестер Свободных...

Попытался отказаться от даров. Какой там! Уже в коляске...

Жалко рай оставлять, тащиться в пыльный городской муравейник. Тронулись; затрещало колесо о гравий. Заметил, за спиной депутации стоит Мария, усмехается, а может, просто губами играет. Заслонило ее деревьями, стволами, листьями, а вскоре и весь монастырь в зелени исчез.

Отец Елисей трясся и жмурил глаз. От кваса ноги стали мягкими. Мимо гроыхали сартовские арбы, и сквозь прикрытый глаз отец Елисей наблюдал за ними.

Заметив чайхану, велел остановиться. Сошел в пыль, прижимая саквояж.

В чайхане все вытаращились на него. Усадили за низенький грязный стол, стали делать вид, что прибирают. Отец Елисей по-татарски спросил себе лепешку и чая. Парень неподалеку с вялою розою за ухом рот раскрыл. «Закрой рот, Хасан! – успокаивал его сосед. – Не видишь, русский мулла вспотели, чай желают...» И сам на отца Елисея из-над пиалы пялится.

Пора приводить приговор в исполнение.

Расщелкнул саквояж, достал. Протянул чайханщику.

– Бросьте-ка это в огонь...

Чайханщик стоял, поглядывая то на книгу, то на отца Елисея.

– Сварите мне чай, для меня, на этой книге.

Тот наконец уразумел.

Отец Елисей отер лоб.

Чайханщик наклонился над огнем. В смуглых руках том

обернутый.

Поглядел на отца Елисея, пошевелил бородой.

Отец Елисей махнул. Подошел. Нище горел ярко и буднично, от дыма чесался нос.

Потом пил сваренный на «Заратустре» чай.

– Чой ширин-ми?⁵ – подошел чайханщик.

На столе перед отцом Елисеем соленые косточки и туземный стеклянный сахар, название забыл. Потом, уже в дороге, вспомнил: «нават».

Рапорт отца Елисея был подан, но действия оказать не успел. Заварилась война с Германией, не до ислама стало и сартовских садов. Выпали из поля зрения и сестры Свободины: Александра с сартеночком на руках и Мария, любительница пасхальных яиц. А потом и остальные герои попроваливались в воронку, возникшую при погружении старого мира.

Ташкентский историк N, сообщивший эту историю и предоставивший копии документов, добавил, что какая-то Свободина в начале тридцатых значилась в списках Ташкентской женской тюрьмы, в которую после революции был переделан монастырь. Место это и сегодня служит больницей женской колонии и опутано проволокой; внутри сидят женщины. Долго передавалась тюремная байка про одну монашку. Что после того, как всех их в восемнадцатом разо-

⁵ Чай вкусный?

знали, осталась одна, которая всё не желала покинуть свое место. И когда монастырь передали под тюремные нужды, устроилась туда в хозчасть. А когда ее и оттуда за религиозность выгнали, то нарочно совершила преступление и после суда снова оказалась там, где привыкла быть. И что фамилия ее была Свободина, забавная с точки зрения ее биографии. При этом она продолжала вести святую жизнь, имея только одну странность: с какой-то материнской лаской относилась к тюремщикам и конвойным из коренного населения и знала их язык. Там, говорят, и умерла. Перед смертью только просила, чтобы ее вывели «в сад». Ее, конечно, никуда не вывели.

Не сложилась дальнейшая жизнь и у пристава Скопцова: в Гражданскую его прирезали в самой той махалле, которую он угнетал. Призрак пристава долго являлся ночами и даже днем при недостаточном освещении и пугал трудящихся. Однако с утверждением новой власти и развертыванием борьбы с суевериями призрак делался всё бледнее; в тридцатые, говорят, его уже никто не боялся, а молодежь даже с ним шутила.

Махалля, в которой были обнаружены отпавшие в иноверие сестры, снесена не так давно. Теперь здесь автомагистраль; возможно, по тому месту, где сестры ласкались со своими соблазнителями, теперь проносятся «Нексиш», сигналият «Матизы» и прогромыхивают грузовики с китайскими иероглифами на кузовах.

Лучшие известна судьба после революции игуменьи Лидии. Восемь лет промерзла на Соловках. Потом проживала в Ашхабаде, помогая гонимому духовенству. Деятельностью ее заинтересовались органы, но бывший монастырский садовник Джума предупредил ее о приговоре и помог бежать в Ташкент, где она и прожила в затворе. В тридцать шестом мирно скончалась; похороны неожиданно собрали более тысячи ташкентцев, отпевал митрополит. Речей и оркестров не было, но цветов море, словно игуменья снова оказалась в своем саду и, спустив очки на кончик носа, готовится показать его посетителям. В девяностые на Боткинском могилу отыскали, с тех пор пользуется почитанием среди еще оставшихся в Ташкенте православных.

Только о самом Елисее Ефремове ничего толком не известно. Происходил из крещеных сибирских татар, боролся с исламом статьями и лекциями. После революции ненадолго сошелся с большевиками, отпечатал им две брошюры против мулл и их мракобесия; их потом всё изъяли – за ссылки на реакционное учение Фрейда. После брошюрок бывший миссионер исчез. Вот, собственно, и всё.

Отец Елисей въехал в город. Шоссированные дороги были местами политы, от тополей тянуло прохладой. На Пушкинской движение усилилось, люди выползали из убежищ и выражали, каждый по-своему, свое одобрение вечерней прохладе. От этой рассеянной в воздухе радости на душе от-

ца Елисея просветлело, и он улыбнулся своею простоватой улыбкой.

Через минуту на лбу снова очертилась складка. Задержался в монастыре, а дела не терпят, магометанство со всех сторон наседает! Публичные лекции, статья в «Ведомости» о женском вопросе в исламе, справка о турецких миссионерах-агитаторах, выступление на благотворительном базаре...

Да, тяжелое, хлопотное лето, лето сего 1913 года.

Ну да ничего, сейчас потрудишься, дальше пойдет легче!..

Девочка с газетой

...А еще когда нам все буквы поменяли – такое время было: всё меняли, вот решили заодно и буквы, – так мне новое общественное поручение сразу. Раньше какие буквы были, знаешь? Правильно – арабская графика. У нас дома много таких книг было. Коран, еще что-то. Мне эти арабские буквы в детстве такими... – как сказать? – сплюснутыми казались. Придавленными как будто. Только две буквы над остальными возвышаются. Алиф и лам. Две высокие буквы. А знаешь почему? Они имя Аллаха составляют. Им судьба быть высокими. Остальные буквы – маленькие, они как бы творят молитву. И вот эти буквы, чтобы, говорят, отвратить от религиозного дурмана, решили заменить на... нет, кириллица потом пришла, под конец тридцатых. Вначале латиницу. Латинский шрифт. Что сказать? Все буквы одинаковые, стройные. А, В, С, D. Газеты стали печатать, борьба с темнотой. Вот эти газеты стали моей общественной обязанностью. Кто эти новые «а», «бэ», «це» понимал? Старики не понимали. У них в голове или арабский, или вообще... Темнота и неграмотность, с которой боролся. А что такое газета тогда была? Телевизор еще не придумали, радио – драгоценность, а люди ведь интересовались: что там где произошло, что в Маргилане, например, какие цены. Про цены в газетах не писали, новости сообщали: построен новый цех, митинг был, все хло-

пали. А я молодая была, лет десять-одиннадцать: глаз острый, голос звонкий, активистка и латинскую азбуку назубок – «а» вот это, «бэ», «це»... Слушай, ты столько картин рисуешь, голову себе ломаешь – что рисовать, что рисовать? А вот живой случай, из моей живой жизни. Девочка развернула газету – вслух читает. Голос звонкий, лицо можешь не мое, другое нарисовать. Активистка. Старики ее слушают.

Карандашный набросок. Карандаш 1М, чтобы не слишком мягкий. Лист блокнота. Серая пахсовая стена (растереть пальцами грифельную пыльцу). Серые фигуры. Старики в серых, вылинявших от солнца и соли чапанах. Скупые карандашные штрихи лиц. Остроконечные тюбетейки, заточенные молчанием. Из-за плеча крайней фигуры справа выглядывает мальчик. Дети любопытны. Он тоже слушает – из-за плеча. Маленькие серые пальцы на плече. Шелестит газета, наполненная новыми буквами и новыми новостями. Девочка (фигура слева) звонким неслышным голосом читает. Острие карандаша замирает на бумаге, не зная, куда двигаться дальше.

...что удивительно: почти всё помню. Всё, что этим пожилым людям читала. В молодые годы память мягкая, как курдючное сало, из которого свечу лепят. Так старики говорили, слушатели. Мои первые слушатели. Обид-ака, он с отцом дружил, твоим дедом. Лавка у него была, сладостями тор-

говал, дети его за это любили, популярным был. Вот за эти сладости его в тюрьму потом посадили. Говорят: «Ты купец, вот и посиди». Купцов сажали. Образованных людей сажали. Деда твоего посадили. Всех сажали...

«...В своем последнем слове подсудимый Файзулла Ходжаев сказал:

– Граждане судьи, я был буржуазным националистом, я много преступлений совершил. Государственная независимость Узбекистана, которая была обещана в перспективе правыми реставраторами капитализма, эта государственная независимость, если бы даже она стала возможна ценою черного предательства, ценою измены родине, расчленения великого Союза Советских Социалистических Республик, путем подготовки его поражения в грядущей войне, то есть путем совершенно недопустимым для людей, которые сохранили хоть какой-нибудь человеческий облик, если бы, я говорю, это оказалось возможным в первое время, то, само собой разумеется, эта самая государственная “независимость”, кажущаяся, была бы новым несчастьем для народов Узбекистана. Я уже об этом частично говорил, когда давал свои показания. Тогда я отвечал на вопросы государственного обвинителя. Ведь когда я сказал, что, отстав от одного берега, мы, естественно, должны были бы пристать к другому берегу, ведь я же ничего другого не имел в виду, как тот берег, на котором находятся капиталистические страны, им-

периалистический капитал, который давит, угнетает сотни миллионов трудящихся людей. Значит, победа этой линии и в данном случае, даже в случае успеха этого черного, этого отвратительного заговора, могла быть только новыми бедствиями для трудящихся Узбекистана. Я опозорен. Националистические организации разгромлены. Разгромлен проклятый “правотроцкистский блок”...»

Холст натянут на подрамник; медленной кашицей ложится грунт. Размер полотна 110 x 75. Достаточно, чтобы уместить трех стариков и одну девочку с газетой. И мальчика, выглядывающего из-за спины (эй, что выглядываешь?). Так, чтобы никому не было тесно на шероховатой поверхности холста. На шероховатой, щедро посыпанной пылью поверхности ташкентского двора конца тридцатых. Чтобы ленивое ташкентское солнце, солнце мелких торговцев, ошпазов и любителей газет излилось на холст сонной радугой масляных красок.

...отца посадили, нас не тронули. У других семьями сидели непонятно за что. За происхождение свое сидели. За неправильное слово. Нас не тронули, только дома страшно стало. Как будто в соседней комнате усопшего обмывают и для поминального плова рис тихо перебирают. Нас выселить вначале хотели. Ваш хозяин, говорят, в тюрьме за свои делишки сидит, а вы здесь целую комнату, как принцессы, занимаете. Спасибо, добрые люди нашлись, покровительство

оказали. А я всё газеты читала. Почти каждый день выходила во двор, вслух читала. Думала, может, что про отца напишут, всё-таки известный человек был, три почетные грамоты. Но там про других писали, про тех, кто на свободе. А я всё равно читала, люди газеты приносили, я читала. Меня так и называли: девочка с газетой. Незнакомые люди слушать приходили. Для них это как театр было. Сидят, глазами моргают, молчат. Иногда я пела. Почитаю газету, потом пою. Веселое время было.

Загрунтованный холст медленно наполняется рисунком. Рисунок обводится умброй натуральной. Подмалевка: охристая, красноватая. Слегка синеватая. Земля, глина, замурованное глиной небо. Но всё равно оно, небо, просвечивает. Небо втекает через глаза, через стебли камыша в пахсовых стенах и просвечивает. Старики возникают из умбры и охры. Кадмий лимонный – для платья девочки. Наносится мастихином, лучше передает фактуру. Девочка будет бабочкой-лимонницей, держащей серую бабочку газеты. Турецкая голубая, из Голландии, – для узоров на лимонном платье лимонницы. Девочка должна возникнуть раньше стариков. Мастихин снимает с палитры жирный лепесток кадмия лимонного и несет его к холсту. За холстом шевелится, переламывая свет и тень, куст инжира. Маленькие плоды, еще не тронутые фиолетовой зрелостью. Осы.

Но тем не менее, граждане судьи, я, находясь здесь, на ска-

мье подсудимых, держа свой ответ, не могу становиться в какую-то фальшивую позу, ибо это были бы только гордые слова. Я не могу сказать, что я не прошу пощады. Я этого сказать не могу. Может быть, кому-нибудь покажется, что такие слова: «не прошу пощады» – звучали бы гордо, хорошо, но не в моих устах, в устах человека, который пригвожден к позору, который сидит на этой скамье. У такого человека словам гордости нет места. Гордости неоткуда взяться! Ведь мы не войдем в историю хоть с какими-нибудь показателями службы народу, какими-нибудь благими деяниями. Если мы войдем в историю, то мы в эту историю войдем как самые закоренелые преступники, как герои бандитских дел, как люди, продавшие и честь, и совесть. Да. Я был бы лгуном, если бы в этот последний час я не сказал, что я прошу пощады. Я хочу жить.

Засинело небо: «Я хочу жить». Поплыли облака пыли под ногами: «Я хочу жить». Заволновался куст инжира: «Я хочу жить». Горит лимонным пламенем платье девочки: «Я хочу жить». Порыв ветра вырывает из рук газету, она летит сухой бескостной птицей по улицам Старого города. Я хочу жить...

Порыв ветра опрокидывает этюдник на куст инжира. Сыплются на холст муравьи – на лица стариков, на ресницы девочки. Падают тюбики умбры. Кадмия лимонного. Теплые капли дождя по холсту.

...а в конце сороковых забрали моего наставника. Тогда снова националистов стали искать. Он мне как отец был, да. Знаешь, недавно в архив ходила, хотела статью о нем писать. Вот дают мне его дело, наставника. Читаю материалы допросов. От него требуют всех назвать, всех националистов в кавычках. Он медленно называет. Я читаю, страницы переворачиваю. Выписываю что-то: всё механически. Всё механически. Потому что сердце мое там, на этом допросе. И тут следователь его обо мне спрашивает: а вот о ней что скажете? А наставник говорит: «О ней – только с положительной стороны. Не националистка. Прогрессивная девушка Востока. Она русские частушки поет!»

...девочка-библиотекарь с газетами мимо проходила: опá, что с вами? Вам плохо?

А я улыбнулась ей: нет, говорю, доченька, всё хорошо. Здесь просто про меня написано. Девушка говорит: тогда поздравляю. И дальше пошла.

Два дня невозможно притронуться к кистям: отравление. Непонятно с чего. Вдруг. С капельницами (поработайте кулачком...). Голодание. Зеленый чай входит через обметанные губы, ветвясь и согревая. Девочка, мысленно почти законченная, читает нараспев последние новости. Три окаменевших старика, один с палкой. Из-за плеча выглядывает мальчик. Круглый и удивленный. Маленький разведчик. Эй, как тебя зовут? Прячется обратно.

Капельница, пиала с остатками чая. Недописанный холст, высохшие капли кадмия лимонного на палитре. Что же я всё-таки съел? Забытье.

*...Подружка моя, как тебе не стыдно:
Дома маме не поможешь – думаешь, не видно?*

А она ей отвечает:

*Подружка моя, я маме помогала:
Две тарелки вымыла, а потом устала! У-у-у-ух!*

...да, такие частушки пели. Или на гармошке, или под пианино. Частушки против лентяек. Лентяек не любили. Это сейчас их по телевизору показывают: лежит здоровая, молодая; просто так лежит. Я такие передачи не смотрю. Говорю: встала бы, пол подмела. Трудиться надо, пока молодая и порох есть; правильно? А она лежит зачем-то.

...а то, что Файзулла Ходжаев говорил на суде, это потом было, конец тридцатых. А я в середине тридцатых газету читала. Здесь неточность. И платье такого у меня не было. Нет, не надо исправлять, это тоже красивое. Не надо, говорю, исправлять, я мечтала о таком платье!

...а косичек сколько мне нарисовал!

...краски хорошие, радостные краски. Такие тогда были, да. И небо похожим получилось. Я вот иногда думаю: куда-то

синее небо подевалось?

...а Файзуллу Ходжаева не пощадили, ты знаешь, расстрел. И отца моего не пощадили. Я иногда с ним ночью беседу веду. С ним и с наставником. И с другими. Все-все новости им рассказываю.

Пожилая женщина сидит на складном стульчике перед картиной. Перебирает четки, словно буквы беззвучного алфавита. Рука тянется к холсту, сухие пальцы трогают шероховатую поверхность. Медленно выздоравливаю.

Остров Возрождения

...Долго всматривается в песок. Песок, один песок. Налесты ветра, текучая смена форм; форм нет; поверхность, горячая, как смерть. Камера поднимается, пытаюсь заглотнуть своим оптическим горлом как можно больше пространства, но и пространства нет, есть царапина горизонта, как линия надреза, надрыва. Ветер надрывает ее. Наконец появляется первый и единственный дар пространства – зрению: бетонное здание вдали. Стоит мертвое, купаясь в солнце и пыли. Звучит шероховатый женский голос. Иногда он начинает смеяться, и тогда песок приходит в движение.

Да. Согласилась не только из-за денег. Деньги не главное. Но деньги тоже. Снимаем с подружкой вместе на Аския-базаре, она тоже не ташкентская, еще на еду-тряпки. Посидеть иногда хочется, потанцевать. Хотя это не главное. Французский учила в школе, хотелось разок во Францию, а лучше сразу на постоянно. Второй у меня английский, но французский для меня вообще как родной. На английском теперь каждая собака, я давай все силы на французский. И теперь думаю, если у меня с Жаном получится, то благодаря тому, что правильно язык выбрала. А подружка, с которой я на Аские, она всё японский. Я прикалываю ее, ты что, японца хочешь, японца? Конечно, хочет японца. А французы, по-

моему, лучше, хотя среди них тоже странные, как среди любой нации. Но французы все-таки лучше – и как мужчины, и просто как друзья, посидеть, там, то-сё... Не, я своей нацией тоже горжусь. Хотя многие, если честно, ее определить не могут, я тогда типа конкурса: угадают – нет? «Тепло – холодно». Говорят: «Кореянка», я: «Холодно». «Татарка», я: «Тепло». Один, правда, иностранец сказал: «Француженка», я как взгреюсь: «Мерзну, мерзну!» В смысле, «холодно». Хотя приятно, конечно, за это. Я по-французски даже сама с собой говорю для практики, хотя сейчас у меня этой практики... *(Проводит ладонью над желтыми крашеными волосами.)*

Песок. Визги мобильного. Женская рука начинает разбрасывать песок. На дне вырытой ямки блеснул мобильный. Он всё еще визжит. Музыка. Женская рука, солнце на маникюре, поднимает его, стряхивает песок, исчезает.

Алло! Ал-ло... *(Зажав рукой.)* Это, кажется, Гуля, хозяйка квартирная. *(В трубку.)* Да, алло! Я ничего не слышу! Со всем ничего не слышу! Кто? Яна? Здравствуй, Яночка! Нет, теперь хорошая слышимость, говори. Подработать? Конечно, свободна-свободна. Ой, че говорю, у меня сейчас навалилось, поездки, поездки, блин, туда-сюда... Сейчас график погляжу. Ой, всё занято... Нет, для тебя конечно, только, понимаешь, все меня нарасхват. Что, в Нукус? На остров? Ка-

кой на остров?

Мне его Яна подбросила, баба такая одна. Всех французов под себя гребет, у самой муж француз, могла бы остановиться уже. Но это уже болезнь, знаете. Как услышит, что из Франции, сразу в него когтями, как кошка. Со мной, правда, делится, я же ее подруга.

Что я хочу в жизни? Детей... *(Смеется.)* Мужа еще... *(Смеется сильнее.)* И чтобы мир был. *(Смех.)* Мир во всем мире!

Они идут по поверхности. Он слегка впереди, гордый обезьяний профиль, тонкие руки. Плоская грудь, плоский живот, плоский зад, по которому ритмично шлепает рюкзак. Она идет сзади. Он останавливается, говорит ей что-то. Она подходит ближе. Поняв, о чем он ее просит, отходит, отворачивается. Он тоже отходит, расставляет ноги. Струя, поблескивая, пробивает воздух.

Вот она, их культура. Наш бы, наверно, обоссался, но промолчал, а этот легко. Отвернись, пардон, и давай свое пи-пи. Наверное, за эту легкость мы их и любим. На край земли готовы за ними, да. Но лучше, конечно, на их родину. Закончил он там, нет?

Салон самолета. Разносят воду. На депутатских местах

впереди пьяные депутаты. Под крылом самолета ни о чем не поет красное море пустыни. Раздают сэндвичи в полиэтилене. Вялый лепесток сыра. Пассажиры шуршат, раздевают сэндвичи. Депутаты просыпаются, начинают знакомиться с девушкой, которая тоже в депутатском кресле. Красивый молодой француз пьет воду. Уступает свой сэндвич переводчице. Вытягивает из кресла впереди журнал, листает. Движение щек и челюстей. Борьба слюноотделения с сухим сэндвичем. Депутаты шутят с девушкой. Брезгливо полистав, прячет журнал обратно в кресло. Откидывается, закрывает глаза. Под крылом появляется первая грязно-зеленая клякса, оазис.

В Нукусе мы задержались, он хотел в Музей Савицкого, они все в него хотят. Они так всегда и говорят: а, Нукус, это где вода с солью и Музей Савицкого. Я там уже сто раз была, тошнит уже от этого музея.

Когда мы любовались картинами, я подумала: блин, может, он голубой? Нет, я к этому нормально отношусь, пусть живут, мне не жалко, даже не противно. Просто не хочу, чтобы мой Жанчик был голубой, столько уже на него сил потратила!

Музей авангарда. Зеленоватые лица, поломанные тела. Мир, разваливающийся на первоэлементы. Сумасшедший коллекционер прятал всю эту гениальную нечисть здесь, в

песках.

Потом коллекцию открыли. Перестройка. Стали приезжать искусствоведы из центра, страдать от поноса (вода), восхищаться музеем. Зеленые небеса, перекошенные лица, русский авангард. О музее напечатали альбом. Два альбома. А авангард сочился с картин и пропитывал жизнь. Иссякло море, оставив торчащие в песках скелеты кораблей – лучшую инсталляцию века. Лица людей, небо, земля – всё постепенно становилось как на картинах. Даже еще авангарднее.

Серое тесто, смазанное маслом. Это дом. Зашла к родителям, пенсионеры. Походила по комнатам. Постояла у своих фотографий, засунутых между стекол книжной полки. На полке те же самые книги. Одну из этих книг написал друг отца, о рыболовстве и первой любви.

Уходя, сунула матери сто долларов. «Ты бы лучше себе на эти деньги кольцо купила или золотой зуб поставила, – говорит мать. – Я завтра пятьдесят поменяю, пятьдесят отложу – на твою свадьбу».

Звонит мобильный. Жанна говорит весело по-французски. Мать отворачивается, словно ее дочь целуется с кем-то незнакомым, пахнущим единственными французскими духами, которые у нее были за всю жизнь.

Они стоят возле картины. Художник Редько. «Материнство». Жанна отходит. Жан остается. Из кондиционера ду-

ет воздух. Жанна сидит на диване, играет с мобильником. В мобильнике бегают маленький ниндзя. Отрывается от ниндзя, смотрит на Жана, долго он еще?

Жан – долго. Они всегда долго. Долго едят, долго спят, долго в музеях.

Портрет старика-казаха.

«Почему ты его не приведешь к нам?» – спросила мать, когда я разговаривала. Почувствовала, конечно. Мать всё чувствует, материнский нос не обманешь.

Ужинали в «Океане». Ему рыбы хотелось, Жанчику. Ну и пусть ест свою рыбу. Могли бы в «Шератон» сходить, ну и что, что цены. Или в «Мирлион». Ему хотелось рыбы, наверное, думал, что она такая, как у них во Франции. Или, наоборот, другая. Я ему намекала на мясо.

Заказали килограмм сома, сидели как придурки, запивали этот килограмм пивом. Хорошо, днем мяса поела. Не могу без мяса. Слышишь, Жан, я не могу жить без мяса. Неужели ты не понял это по моему лицу, когда принесли эту рыбу? *(Официантка пересчитывает деньги.)*

«Это точно остров Возрождения?» – спросил он, когда водитель затормозил. Жанна перевела. Водитель кивнул. Жан захлопнул ноутбук, открыл дверцу, вышел в пространство. Водитель закурил, жадно, как курят очень бедные, обиженные люди. «Не забудьте нас в четыре», – сказала Жанна. «Не

забуду». Включил музыку. Всю дорогу Жан не давал ему курить и слушать музыку. А без музыки жизнь – не жизнь, а серое говно. Француз этого не понимал.

Ее тело: смуглая кожа, скелет подростка, крепкая шея, генетически способная вынести килограммы ювелирных украшений, болтающихся, звякающих, в ушах, в волосах, на самой шее... (Вместо этого – сережки-плевочки, подарок очередного туриста, ни имени, ни губ которого она уже не помнит, утекло.) Мягкий живот, в котором бьется сердце. Мелкая грудь с сосцами цвета мокрой глины.

Его тело: белый слепок французской земли, чуть покрасневший от неевропейского солнца (здесь). Правая щека выбрита чуть хуже левой. Родимое пятно под левой лопаткой, о котором он не знает сам. На ногах второй палец длиннее первого, это значит, он будет подчиняться жене, если она у него когда-нибудь возникнет.

Когда я была у родителей, залетела большая муха. Села на затылок отца и поползла. Отец ничего не чувствовал: «Тебе уже пора замуж». Всегда об этом напоминает.

«Отец прав, – сказала мать. – Мы тоже не вечны. У отца почки. Ты останешься одна. Одной легко, думаешь?»

Она встает и сгоняет с отца муху. Она всегда отгоняет от отца мух, она уверена, что это и есть – любовь.

«Я не хочу всю жизнь сидеть в этой дыре», – говорю, гля-

дя, как муха снова садится на отца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.